Г. ТРОЕПОЛЬСКИЙ

КАНДИДАТ НАУК



Г. ТРОЕПОЛЬСКИЙ



ПОВЕСТЬ, ОТЧАСТИ САТИРИЧЕСКАЯ

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»
МОСКВА · 1962

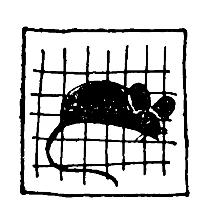
Р2
Т=70

ЧИТАТЕЛЮ О КНИГЕ

Гавриил Николаевич Троепольский широко известен читателю как автор повестей, рассказов, очерков, посвященных актуальным вопросам нашей современности.

В «отчасти сатирической» повести «Кандидат наук» Г. Троепольский выступает против лжеученых, присосавшихся к сельскохозяйственной науке, тормозящих ее развитие. Писатель говорит о необходимости очищения науки от лжеученых, блудословов, подхалимов и «флюгероидов», которые, по словам автора, «чрезвычайно живучи, весьма выносливы и устойчивы против неблагоприятных условий погоды». В то же время Г. Троепольский тепло пишет о настоящих ученых и о людях колхозов.

Повесть «Кандидат наук» написана Г. Троепольским в 1957 году. Проникнутая заботой о развитии сельского хозяйства, она звучит актуально и сегодня.



ГЛАВА ПЕРВАЯ

ТУРНИР НА ЧЕРНИЛЬНОЙ КРЫШКЕ

Что можно сказать о характере и внешности Ираклия Кирьяновича Подсушки? Признаюсь, почти ничего особенного нельзя сказать, кроме одной детали: Ираклий Кирьянович Подсушка был настолько тощ, насколько может быть тощим человек. Совсем тонкий. Но это не от слабости здоровья и не от того, что он мало ел, а по природе такой. Что же касается пищи, то он употреблял ее в достаточном количестве и очень, очень регулярно. Иные знакомые так и шутили: у Ираклия Кирьяновича душа тощая, поэтому для пищи остается внутреннего пространства гораздо больше, чем полагается. Он, конечно, принимал это не за очень чистую монету и в душе — именно в душе! — страстно желал растолстеть. А кто, спрошу я вас, не желает быть полным из тех, кто действительно тощ? Тут ничего удивительного нет в Подсушке.

Еще что? Ну, думал он, конечно, кое о чем. Даже глубоко задумывался. Например, сидя за столом не-

большого научного учреждения, он, Подсушка, часто занимался проблемой. Мысленно он так и говорил: «Опять проблема лезет в голову». Что же это за проблема такая беспокоила его?

А дело в том, что у Ираклия Кирьяновича подохла кошка. Обыкновенная кошка. Ей-то что: подохла, и все тут. А Подсушке — проблема. «Не дай-то бог, заведутся мыши!» — с ужасом думал он. Боялся он мышей этих больше всего на свете. Искал он сначала котенка, но подходящего, трехцветного, так и не нашел. А надо обязательно, чтобы трехцветный был,— счастливый, значит. Так проблема встала перед ним во весь рост. На всякий случай он купил мышеловку и зарядил ее салом. Но мыши не ловились. Ираклий Кирьянович не поверил мышеловке и решил купить новую, более совершенной конструкции. Однако мышеловки везде были одинаковы: дощечка, пружина, сторожок. Сущий примитив.

«И что же это ученые не могут выдумать настоящего прибора», — подумал он раздосадованно. С тех пор и засела ему в голову мысль: изобрести автоматический прибор по улавливанию мышей в домах, хранилищах и на полях. Назвал он будущее изобретение «автомышеуловитель». Много часов рабочего времени в своем учреждении он посвятил этой проблеме. Много разных проектов возникло в его многодумной голове. Он даже чертил на писчей бумаге карандашиком. Были у него проекты двух- и трехпружинных автоматов, были так называемые «лапохваты», были и такие, что мышь обязана была просто прилипать, как обыкновенная муха. Но самый последний проект абсолютно поглотил Ираклия Кирьяновича всего целиком. Этот проект назывался «фотоавтомышеистребитель». В принципе аппарат должен был иметь «фотоглаз». Если в поле зрения этого глаза попала бы несчастная мышь, то автоматически включался мощный вентилятор и через соответствующее

сопло моментально втягивал мышь в соответствующий резервуар. При этом мышь обязана была бы умереть немедленно вследствие сильного удара о стенку резервуара (на каковую можно было бы даже набить сапожных гвоздиков для надежности). Ираклий Кирьянович очень был обижен, когда ему сказали в какой-то артели инвалидов, что никакого соавтора ему не дадут, так как его проект суть фантазия, что нет ни системы, ни самого аппарата, что он предлагает только одну идею, которую никто осуществить не может. Ираклию Кирьяновичу казалось, что его «затирают». И ввиду того, что он лично считал свою идею наивысшим достижением в деле мышеистребления, больше он изобретать не стал. Смирный был изобретатель, слабоват характером. Осталась только одна папка с надписью: «Смерть мыши!»

Вот о чем и думал он частенько. Мрачные воспоминания. А трехцветный котенок не попадался.

После таких неприятных мыслей Ираклий Кирьянович вздыхал, съедал бутерброд, брал латунную крышку с чернильницы, чистил ее некоторое время бумажкой. Все это делал не спеша, спокойно, зная, что посетители бывают очень редко, а бумаги, запланированные на эту неделю, написаны еще во вторник. Так что в субботний день можно не спешить. И он не спешил. Почистив крышечку, ставил ее на «пуговку», воронкой вверх, и ловко запускал волчком. При этом он засекал время и, не выпуская часов из руки, следил за волчком. Милая сердцу тишина учреждения и ласковое журчание волчка располагали к ласковому же и безмятежному бездумью. Не хотелось в такие минуты думать о том, что он находится в учреждении, которое разрабатывает весьма серьезную сельскохозяйственную тему: «Что может есть лошадь и что она должна есть». И все-таки он думал, глядя на волчок и на часы. Трудное дело наука: всегда лезут всякие мысли в голову.

«В самом деле, что может есть лошадь? — думал Подсушка. — Овес? Сено? Эва! Это уже давно известно. Известно и за границей. А вот вопрос: что может есть лошадь, кроме овса и сена? Тут надо голову иметь, чтобы исследования были строго научными и вполне обоснованными».

Вторично запустил волчок Ираклий Кирьянович. И вторично думал: « В надежные руки попала тема «КК» («КК» означает —коню корм). В надежные. Карп Степаныч провернет! А я, Подсушка, обеспечу его кадрами на периферии, поскольку таковое дело поручено мне, Подсушке». А волчок крутился, крутился и южал... Истинное наслаждение!

А кто такой Карп Степаныч? — спросит читатель. Это тот самый Карп Степанович Карлюк, который ведет тему «КК». Сидит он в той же комнате, где и Подсушка, слева от него, шагов за десять, за большим письменным столом. Во время первого запуска волчка Карп Степаныч смотрел в выдвинутый ящик своего стола и, казалось, сосредоточенно думал. Но это только казалось. В действительности же он читал роман «Королева Марго». Способ такого чтения представляет определенные удобства. Пришел, скажем, посетитель, тогда Карп Степаныч медленно отрывался якобы от задумчивости, дочитывая абзац, и задвигал ящик. Задвигал и веско говорил: «Я слушаю». Иной посетитель, может быть, и подумает: «Эх, не вовремя пришел. Человек мыслил, а я перебил».

В тот момент, когда крышка-волчок заюжала вторично, Карп Степаныч оторвался от чтения и поверх очков молча посмотрел на стол Ираклия Кирьяновича, своего подчиненного. Смотрел до тех пор, пока вращение не прекратилось и волчок не зазвенел по стеклу. Мягким баритоном Карп Степаныч задал вопрос:

— Сколько?

— Четыре минуты, — ответил Ираклий Кирьянович, улыбаясь.

— Ниже вашего рекорда. Много ниже... На целую минуту. — Но говорил он это, скрывая зависть, так как сам еле дотягивал и до двух минут.

Да, завидовал Карп Степаныч этому Подсушке: человек ниже его по всем статьям, а рекорда не сдает. Иной раз даже приходила мысль: «Не уволить ли его?» Но это только вспышка. Вообще-то он ценил Подсушку как незаменимого.

И вот Карп Степаныч встал из-за стола, потянулся, расправил плечи и медленно пошел к столу Подсушки. Шел с единственной решимостью: победить!

Интересный человек Карп Степаныч. Это вам не Подсушка—о нем можно кое-что сказать. Он был толст и кругл настолько, насколько может быть круглым человек. Никакого сравнения с Подсушкой! Но это не от очень хорошего здоровья и не от того, что он много ел разной пищи, а просто такая конституция организма получилась со временем. Не стоит также думать, что Карп Степаныч, будучи по представлению Ираклия Кирьяновича идеально полным, был меланхоличным или совсем неподвижным, лишенным обычных человеческих чувств. Наоборот, Карп Степаныч бывал и добр, бывал и зол, а иногда просто даже и ласков, иногда же выражал и удивление, если к тому были основательные причины.

Во всех этих чертах характера начальника Ираклий Кирьянович разбирался очень тонко. Со стороны кажется, что круглое, пухлое лицо Карпа Степаныча с вросшими в жир мочками ушей остается неизменным при появлении различных высоких чувств, а на самом деле это далеко не так. Предположим, Карп Степаныч находится в удивлении, — тогда маленькие толстые губы складываются трубочкой, брови поднимаются вверх, локти слегка отходят от туловища. А во гневе! Тут губы

Карпа Степаныча вдруг становятся большими, рыхлыми, а брови делаются углом и впиваются концами в складки над переносьем. И он слегка сопит. Говорит в таком состоянии почти басом. Весь он во гневе становится как-то толще, могущественнее. А в ласке! Когда, например, высшее начальство говорит с ним по телефону, губы — те же губы! — становятся тонкими, ибо они то плотно сжимаются, то растягиваются. И он держит телефонную трубку стоя, слегка полусогнувшись. В такие ответственные моменты жизни он ласково улыбается, слегка потеет, голос его становится значительно тоньше обычного или — как бы это сказать получше? — голос становится мягче, в соответствии с размягчением душевным. Правду сказать, улыбался он чрезвычайно редко.

Итак, Карп Степаныч подошел к столу. Сел на поданный Подсушкой стул и произнес:

— Начнем?

— Пожалуйста.

— Жребий.

Ираклий Кирьянович взял две спички. Одну из них надломил, затем сложил концы спичек, зажал в двух пальцах и поднес Карпу Степанычу.

— Короткая — первый, — пояснил он лаконично.

Карп Степаныч потянул: досталась длинная. И вот Ираклий Кирьянович запустил. Да как запустил! Так запустил, что в течение пяти минут Карп Степаныч сопел (а мы уже знаем, что это значит). Запустил и Карп Степаныч, и — только две минуты! Чепуха!

— Виноват! — сказал он торопливо. — Сорвался палец. Повторю.

— Да, да, я видел: сорвался палец, — подтвердил Ираклий Кирьянович, слегка кривя душой.

Но и вторично Карп Степаныч не дотянул до трех минут.

Если бы посторонний человек сидел за стеной и слушал, то вот что он услышал бы.

— Четыре, — говорит Карп Степаныч басом и сопит так, что слышно в соседней комнате. (У них правило: результат объявляет партнер.)

А по прошествии некоторого времени скрипучим голосом восклицает Ираклий Кирьянович:

— Три!

Снова южит волчок.

— Три, — говорит Карп Степаныч уже более мягким баском.

Мертвая тишина. Молчание. Южит волчок. И упавшим голосом говорит Ираклий Кирьянович:

— Три... Сравнялись.

— Три, — звучит голос Карлюка в большой комнате.

— Три, — ржавой петлей скрипит Подсушка.

— Две...

— Ваша — три! — взволнованно восклицает Ираклий Кирьянович.

— Только две, — уже с явной радостью говорит Карп Степаныч.

— Ваша победа! — сокрушенно произносит в заключение Ираклий Кирьянович.

Зная характер начальника, он постепенно сбавлял свое время до тех пор, пока не оказался побежденным.

— Ой! — воскликнул Ираклий Кирьянович. — Уже десять минут седьмого!

— Вот так всегда, — сказал Карп Степаныч. — Никогда не вырвешься с работы вовремя.

Расстались они на тротуаре. Карп Степаныч пошел вразвалку в одну сторону, а Ираклий Кирьянович засеменил домой, в другую сторону, быстро переставляя длинные ноги.

Он был доволен: вчера получил зарплату, сегодня рабочий день кончился, завтра воскресенье.



ГЛАВА ВТОРАЯ

ВЕЧЕР СЛЕЗ

Суббота есть суббота. Хороший день — суббота. Карп Степаныч зашел домой за бельем и отбыл в баню. Искупавшись, возвратился на квартиру, где его ждала кругленькая, с этаким приятным пухленьким подбородочком жена Изида Ерофеевна. Она сложила руки по-наполеоновски и, казалось, сосредоточенно смотрела на мужа. А Карп Степаныч был в расположении духа. Тут, конечно, сказалась и победа в турнире на чернильной крышке, и добрая баня, и предвкушение вечернего принятия пищи.

— Ну-с, Изида Ерофеевна, — заговорил он, раздеваясь, — значит, с легким паром нас. Выкупались знатно.

Изида Ерофеевна и бровью не повела, а не то чтобы как-нибудь реагировать на добродушие мужа: то ли она расстроена была чем, то ли подозрение какое-то тяготило ее, но она молчала. Всегда она была веселой, а сегодня молчала, и будто намеревалась придраться к чему-то, будто уже искала, к чему бы это придраться.

— Ну, Иза! В чем дело? — спросил Карп Степаныч в тревоге.

Мягким, по кошачьи вкрадчивым голосом она произнесла два слова:

— Сними рубашку.

Это был приказ. Знал Карп Степаныч, что чем мягче у жены голос, тем беспрекословнее требуется подчиняться. И он, пыхтя, снял рубашку. Изида же Ерофеевна еще раз и тем же тоном сказала одно слово:

— Подойди.

Карп Степаныч подошел. Она потрогала пальцем его голую грудь, спину, обошла вокруг, ткнула пальцем в живот и уже грубым, скрипящим голосом заключила в качестве придирки:

— Не смог уж вымыться чисто. Эх, ты!

— Что? — нерешительно вопросил муж.

— Неряха, — утвердила она, глядя снизу вверх в лицо мужа (ростом она была много ниже).

— Изида Ерофеевна! — Карп Степаныч засопел, губы стали толстыми, брови сошлись, и он повторил еще более грозно: —Изида Ерофеевна! Не позволю! Я все-таки кандидат сельскохозяйственных наук...

— Только и всего — не больше. Дальше-то ума не хватает.

— Ничего подобного! — И Карп Степаныч двинулся на супругу, полуголый, тучный, красный после бани и от крайнего возбуждения нервов. Он был страшен, но... не для жены.

И вдруг Изида Ерофеевна преобразилась — руки в боки, ноги расставила и, чуть пригнувшись, завопила:

— Ты! Раззява! Масловский семь тысяч защитил, а ты все на трех кандидатских сидишь. Неумеха! На́! Читай! Сейчас только принесли. На́! — Она бросила ему скомканную телеграмму и горько заплакала.

А Карп Степаныч побледнел всем телом. Он второпях надел сорочку, поднял телеграмму, разгладил ее ладонью на столе и прочитал:

«Из Одессы. Масловский двенадцатого защитил докторскую не пропустите случая поздравить точка через два дня возвращаюсь. Привет. Чернохаров».

— Иза! — позвал он упавшим голосом.

— Что? — сквозь рыдания спросила Изида Ерофеевна.

— Подойди.

Она подошла. А Карп Степаныч обнял ее и дрожащим голосом заговорил:

— Не расстраивайся. Успокойся. Не надо завидовать... Наука — святое дело! Наука требует от человека всей его жизни целиком, каждого часа, каждой минуты! — Он помолчал. — Будет и у нас... семь тысяч. Будет.

Изида Ерофеевна верила: будет. Это была мечта и его и ее. Да и кому же больше мечтать с ними, если они вот уже двадцать лет живут вдвоем. А родные забыли их почему-то. Единственное утешение у них — Джон, кобель спаниелевой породы, куцый, с лопатистыми ушами, коротконогий. Ласковый кобелек, сообразительный, понимающий.

Джон подошел к хозяевам, сел на задние лапы, поскулил. Понимает, значит, что у хозяев что-то неладно.

— Ах, Джон, Джон! — сказал Карп Степаныч и вздохнул, а затем сел за вечерний прием пищи.

Они ели и молчали. Молчали и ели. Наевшись, супруга думала-думала и легла спать, а Карп Степаныч сел за письменный стол и уставился на телеграмму. Что-то надо было делать, а что —он будто бы никак не сообразит. Сидел и думал.

Часам к двенадцати ночи он решил. А раз решил — ночь просидит до рассвета, а сделает. Характер у него был очень трудолюбивый и прямой. Он и сам говаривал иногда: «Там, где наука, я — весь! Ничем не поскуплюсь!» Так и в тот вечер: сел и написал после размышлений бумагу, которую мы приводим полностью.

«Заявление

Дорогие товарищи! Во исполнение личных и общественных побуждений, подчиняясь голосу гражданской совести, памятуя о преданности партии и Советской власти, оберегая сельскохозяйственную науку от проникновения

вредных социализму идей, в целях борьбы с низкопоклонством перед буржуазной наукой, имея в виду служение науки народу, считаю долгом своим сообщить нижеследующее.

Нам стало известно, что некий кандидат сельскохозяйственных наук, Масловский Герасим Ильич, в свое время защитивший кандидатскую диссертацию, защитил уже докторскую. Каждому гражданину приятно, когда в нашей научной семье нарождается новый член в почтенном возрасте. Масловский работал на теме «Проблемы кормодобывания и селекция кормовых культур». Тема, конечно, общего порядка, не специализирована на одном виде животного (что было бы существенно необходимо в целях конкретизации и комплексирования, а также и наиболее желательной калорийности). Но не в этом только дело.

Кто такой гражданин Масловский?

1. Нам доподлинно известно, что он был женат на дочери бывшего помещика, а следовательно, так или иначе связан с классом эксплуататоров и паразитов жизни. Идеологическое его настроение, исходящее из родства, выразилось в следующем: он, Масловский, будучи кандидатом наук, отнюдь не был предан учению Вильямса о травопольной системе, а более того, на одном из ученых советов говорил о том, что из этой системы мы якобы сделали шаблон. Нашу государственную, единственно правильную систему преобразования земли и создания плодородия для получения ста центнеров пшеницы с га он, Масловский, считает шаблоном! И такому человеку дали проникнуть в недра науки с присвоением степени доктора!

2. Нам также известно доподлинно, что Масловский, хотя он это и скрывает, всегда был, есть и будет до конца жизни менделистом и морганистом и тем самым всегда склоняется к буржуазным теориям в науке. И такому

буржуазному человеку дали степень, будто у нас нет людей лучше. Не стыдно ли нам, кто честен и предан, терпеть такое? Можно ли об этом молчать? Нет, надо принять меры.

Как противника травопольной системы земледелия, как скрытого менделиста, Масловского надо не допустить в лоно науки в качестве доктора, пусть побудет кандидатом, пока проверят его и всю его жизнь.

Кроме того, сообщаю, что защита диссертации состоялась в Одессе двенадцатого сего месяца, а следовательно, еще не утверждена высшими инстанциями.

Прошу вас оградить науку, пока не поздно.

К сему...»

Карп Степаныч думал-думал и подписал так:

«Доброжелатель Советской власти».

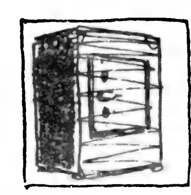
Это заявление он переписал, запечатал в конверт, запер в ящик письменного стола. Черновик сжег. Затем, облегченно вздохнув, снова стал смотреть на телеграмму. И чем больше смотрел, тем все больше и больше умилялся. Глаза у него стали влажными от прилива высоких чувств. Он взял ручку и написал:

«Одесса Масловскому

Дорогой Герасим Ильич восклицательный знак радуюсь вашей удаче поздравляю сердечно обнимаю точка слезы радости восхищения благодарности за вклад сельскохозяйственную науку освежают мою душу точка живите долго на благо народа

Карп Карлюк».

Он достал носовой платок, вытянув для этого ногу. Чистая, как у грудного ребенка, слеза упала на телеграмму. Карп Степаныч плакал. Очень уж он сильно растрогался.



ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК — ДЕНЬ ТЯЖЕЛЫЙ

После воскресенья всегда бывает только понедельник. И это ни у кого не вызывает удивления. Но Ираклию Кирьяновичу очень хотелось бы, чтобы понедельников не было совсем, чтобы сразу вторник. Понимаете, какая у него установка? С самого раннего детства он был убежден, что понедельник — день тяжелый. Об этом он слышал еще от своей матери, и от отца, и от соседей. Хотя он и не ходил уже в церковь, но в свое научное учреждение являлся в понедельник всегда с какой-то тягостью. Он в понедельник ожидал неприятностей, был уверен в этом и каждый раз думал, входя: «Ну, что-то сегодня стрясется? Ох, уж эти понедельники!»

В тот самый понедельник Ираклий Кирьянович пришел, как и обычно, первым. Разделся, повесил пальто на вешалку, осмотрел его, почистил ногтем пятнышко; затем уже снял кашне, аккуратно свернул его, положил в шляпу, которую и поставил на полочку, донышком вниз. Делал он все это не спеша. В учреждении было тихо. Он прошелся по комнате, осмотрел давно знакомые диаграммы успехов в области кормления лошади, постоял у стола Карпа Степаныча и вслух произнес, указывая сухим пальцем на несгораемый ящик, стоящий тут же, около рабочего места руководителя: «Тут мысль. Тут докторская — под этим чугуном». И покачал головой. Так уж сложилось в жизни, что судьба определила ему не защищать ученые степени, а только помогать другим достигать их. Он всегда только держал за хвост скользкого

вьюна научной славы, пока кто-либо другой не ухитрялся все же его выпотрошить. Попробовал Ираклий Кирьянович учиться заочно—ничего не получилось. Но он дважды побыл на курсах (не то двухнедельных, не то двухмесячных) и на этом основании в анкете, в графе «образование», писал: «Шесть классов гимназии и высшие курсы».

Походил-походил Ираклий Кирьянович по комнате в ожидании понедельничных невзгод и остановился у правил внутреннего распорядка. Остановился и подумал: «Кто бы догадался? А вот я сообразил».

Что же такое сообразил Ираклий Кирьянович Подсушка? А дело было так. При организации данного учреждения, Межоблкормлошбюро, куда был назначен Карп Степаныч Карлюк в качестве руководителя, Подсушка тоже выехал за назначением в качесте замзавмежоблкормлошбюро. Пришлось ему быть и в министерстве сельского хозяйства. И, конечно, он ознакомился с правилами внутреннего распорядка. А ознакомившись, переписал их и привез в Межоблкормлошбюро. После перепечатал их на машинке, вывесил их в золоченой рамке за подписью Карлюка. Хотя в данном научном учреждении и было всего только четыре человека (Карлюк, Подсушка, бухгалтер и уборщица), но правила распорядка придавали внушительность всей комнате. Подсушка гордился: он это сообразил! И часто перечитывал. Он был вполне удовлетворен тем, что о верчении чернильной крышки в правилах ничего не сказано, и, подумав об этом, даже улыбнулся.

Так начался один из июньских понедельников тысяча девятьсот пятьдесят третьего года в Межоблкормлошбюро.

Часы пробили восемь. Подсушка сел за свой письменный стол. Он всегда садился точно, выполняя распорядок дня, и начинал работать.

В соседнюю комнату, за перегородку, вошел бухгалтер и оттуда приветствовал:

— Ираклию Кирьяновичу!

— Привет, — равнодушно ответил Подсушка.

— Ну как, жизнь идет?

— Идет.

— Почты не было?

— Нет.

Видно было, что бухгалтеру Щеткину хотелось поговорить. Но сверх того, что они сейчас произнесли, не было сказано ни единого слова за весь рабочий день. Ираклий Кирьянович отвечал бухгалтеру с достоинством, лаконично, как лицу, стоящему ниже его. Но при упоминании о почте его покоробило, и он подумал: «Ох, уж эти понедельники! Не знаешь, где ждать неприятности».

И в это самое время вошел в комнату человек в кирзовых сапогах и новеньком ватнике. Он снял треух, поправил зачесанные назад волосы и сказал:

— Здравствуйте!

— Привет, — ответил сухо Подсушка, не отрываясь от бумаги.

— Здесь Обллош... меж... корм? Или как там? Простите, не выговорю.

— Здесь Межоблкормлошбюро, — ответил Ираклий Кирьянович с расстановкой.

Тень улыбки прыгнула на губах вошедшего. Чтобы скрыть ее, он потрогал короткие черные усики пальцем и продолжал допытываться:

— А Карлюка могу я видеть?

Тут только и поднял Ираклий Кирьянович взор на посетителя и ответил:

— Скоро будет. По какому вопросу?

— Да вот... Слышал, будто вам нужны агрономы.

— Нам нужны агрономы, работающие или работавшие в колхозах.

— Я из колхоза.

— Фамилия?

— Егоров. А вы Подсушка?

— Совершенно правильно: Подсушка. Вы, видимо, запомнили мою подпись на той бумаге, что мы разослали по периферии?

— Точно, читал. Запомнил.

Подсушка побарабанил пальцами по столу и многозначительно сказал:

— Та-ак.

— Ну так как же насчет места? — спросил Егоров.

— Мое дело найти кандидатуры, а принимать будет Карп Степаныч Карлюк. Оставьте анкету и заявление.

— А он скоро?

— Не знаю.

— Подожду, — сказал Егоров и сел без приглашения.

Ираклий Кирьянович писал. Егоров сидел, усмешка не сходила с его губ. Он спросил:

— А в чем будет заключаться моя работа?

— Если примут, — подчеркнул Подсушка, — то будете изучать.

— Что?

— Ну... культуры, поедаемые лошадью, и...

— А какие культуры?

— Ну, те, которые... ест лошадь.

— А конкретно? Овес?

— Овес? Может быть, и овес. — Подсушка не был посвящен в точные детали развертывающейся деятельности Карлюка, но, чтобы не терять авторитета, добавил: — Сено будете, вероятно, сеять. Возможно... пшено,

— Просо?! — удивился Егоров.

— Почему? — удивился в свою очередь и Ираклий Кирьянович.

— Пшено делают из проса, — вежливо пояснил Егоров.

— Как это так — из проса?.. Ах, да! Из проса! Конечно, из проса! Конечно, просо. И... крупу. И все, что скажет Карп Степаныч.

— Наверно, он не скоро придет.

— Дела. Дела у него... там. — Подсушка махнул неопределенно рукой и для вящей важности и усиления авторитета начальства добавил: — В обкоме, наверно.

— Вот моя анкета, — сказал Егоров. — А я зайду сегодня, через час-другой. — И вышел, все так же улыбаясь.

А Ираклий Кирьянович бросился к словарю. Он, торопясь, искал «культуру — пшено», потом — «просо», потом — «крупу». Последней культуры он так и не нашел. Было как-то не особенно ловко без настоящей уверенности. Он решил более подробно спросить у Карлюка впоследствии, а пока вытащил из беспорядочной груды книг «Справочник агронома». Нет «крупы»! Сложное дело наука! Было время, Ираклий Кирьянович изучал вопрос о происхождении постного масла. А на запрос одного из работников периферии о площади питания редьки он ответил: «Чем реже, тем лучше. Название «редька» говорит само за себя». Такой ответ он дал тогда в отсутствие Карлюка, который, как мы убедимся ниже, насчет практического сельского хозяйства соображал.

«Черт бы побрал это пшено! — подумал Подсушка.— Понедельник!» И глубоко вздохнул.

Наконец пришел и Карп Степаныч. Ираклий Кирьянович встал и поздоровался с легким поклоном:

— Доброе утро!

— Приветствую вас! — покровительственно произнес Карп Степаныч.

— Как выходной? — завязывал разговор Подсушка.

— Работал всю ночь... Ох-хо-хо-хо! — Карлюк грузно повалился в кресло.

— Вы бы уж пожалели здоровье, Карп Степаныч. Вы должны понять: ваша жизнь — для науки. Нельзя относиться так безрассудно...

Так Ираклий Кирьянович «отчитывал» начальника. А тому было приятно, и он делал вид, что позволяет такое только Подсушке.

— Ну-ну, ладно. Опять пробираете. Постараюсь. Постараюсь отдыхать.

Но еще несколько минут Ираклий Кирьянович возмущался тем, что Карп Степаныч не бережет себя для науки. А под конец они оба вздохнули с грустью.

— Карп Степаныч! — обратился через некоторое время Подсушка. — Крупа — это как? Сеют или как?

— Крупа,— поучительно начал объяснять Карлюк,— эт-то бывает гречневая, манная и... перловая.

— Гречневая. Из гречихи? Такая — с остренькими краями?

— Безусловно.

— А манная с юга? Где-нибудь в пределах Палестины?

— Из пшеницы делают. — Карп Степаныч все это знал очень хорошо. — А не с неба падает. Версия. Легенда.

— А... перловая? — немного смущаясь, спросил Ираклий Кирьянович.

— Перловая? — Карп Степаныч поднял брови.

— Да. Перловая.

— Ах, да! Перло-овая! Помню, помню. Перловая... Перловая?

— Да. Перловая, — повторил и Ираклий Кирьянович.

— Перловая... Перл!.. Что такое перл?.. Что-то выскочило из памяти. Я скажу вам завтра. Вспомню. К нашей теме это не относится: лошадь не кормить перлами.

Ираклий Кирьянович теперь уже точно знал: пшено — из проса, гречневая крупа — из гречихи, перловая — конечно, из перлов, а из каких — скажет Карп Степаныч. «Век живи — век учись», — завершил он размышления по данному вопросу. Затем от вопросов теоретического порядка он перешел к практической работе и доложил:

— Был тут агроном, Егоров. Явился на наше письмо, разосланное по периферии.

— Егоров? Егоров, Егоров... Знакомая фамилия. — Карп Степаныч задумался, что-то вспоминая. А потом сказал как бы про себя: — Нет. Не может быть, чтобы он. Тот, наверно, погиб. Иначе был бы слух.

— Это вы про кого?

— Да так... Вспомнилось. Ну а как он, Егоров-то?

— Ничего. Соображает. По сельскому хозяйству и... вообще. Беседовал с ним — соображает.

— А анкетные данные каковы?

— Совершенно правильно: в анкете человек — весь. — Ираклий Кирьянович достал анкету и, держа ее в руках, объяснял начальнику, сидящему за своим столом, за десять шагов от него: — Та-ак. Из крестьян... Высшее. В других партиях не состоял. За границей родственников нет. Та-ак... Места работы... Интересно! Восемь лет — и все в одном колхозе агрономствует.

— О! Это совсем хорошо! — воскликнул Карп Степаныч. — С наукой не связан, разных там тонкостей в защитах диссертаций не знает, а материал давать будет. А из себя-то он каков?

— Положительный... И ватничек на нем...

— Пройдет, — заключил Карп Степаныч и тут же подумал: «Не он».

Ираклий Кирьянович сочинил приказ, а Карп Степаныч подписал. Агроном Егоров назначался на «опорный пункт» в колхоз «Правда».

А через час вошел Егоров. И прямо к Карпу Степанычу:

— Здравствуйте, товарищ Карлюк!

Карп Степаныч вытаращил глаза, открыл рот и, не спуская глаз с вошедшего, взял со стола, не глядя, очки, надел их, снова снял и еще раз надел.

Ираклий Кирьянович за два года совместной деятельности ни разу не видел Карпа Степаныча таким. Он тоже открыл рот и тоже надел очки. Чему удивлялся Карп Степаныч, для Подсушки было неясно, а сам он удивлялся удивлению начальника.

— При... ветствую... вас, — наконец произнес начальник и спросил после паузы: — Вы?

— Я.

— Филипп Иванович? — И тут он выжал улыбку.

— Филипп Иванович, — ответил Егоров.

— А... как же?

— Да так. Вот пришел.

— И усы... у вас... те же, — уже покровительственно, с улыбкой и склоненной набок головой сказал Карп Степаныч, сложив ладошки на животе.

— И усы, — подтвердил Егоров, погладив их.

И только-только начальник хотел сказать уже готовые слова: «К сожалению, вакантных мест уже нет», как выскочил из-за стола Ираклий Кирьянович и, подражая тону начальника, обратился к Егорову:

— И приказик на вас подписан. Поздравляю! Наука, она...

Карп Степаныч пронзил его взглядом, засопел да еще и пожевал губами в великом недовольстве. Но... податься некуда. Егорову вручили приказ и перечень тем для постановки опытов.

Ираклий Кирьянович ушел за свой стол, съежился там, поник челом над бумагой и ровным счетом ничего не соображал, что сегодня происходит. Дьявольский понедельник!

Филипп Иванович почему-то тоже был сердит. Он нахмурил густые брови, бесцеремонно прошелся по комнате, оглядел стены, остановился перед Карлюком и сказал утвердительно:

— Значит, вы здесь.

— Здесь, — как-то не особенно уверенно подтвердил Карлюк.

— Интересно. Еще не доктор?

— Пока кандидат.

— Итак, я ваш подчиненный.

— Не будем об этом. Мы школьные товарищи. А старое мы забыли. Понимаете, забыли.

— Возможно, — неопределенно ответил Егоров, так что Карпа Степаныча покоробило.

Но он продолжал тем же тоном, с большой выдержкой:

— А завтра вы направитесь к профессору Чернохарову, получите от него две темы для производственного изучения.

— Старый учитель, — сказал Филипп Иванович, задумавшись.

— Наш с вами общий учитель. — Карп Степаныч постучал по столу пальцами и вдруг спросил: — Где же вы пропадали? Не слышно было.

— Воевал, — нехотя ответил Егоров. — Брал Берлин... Потом в колхозе все время.

— Так, так, — оживился Карлюк. — Ну и как там, в Германии-то?

— В каком смысле?

— Дороги там, говорят, хорошие?

— Отличные. Нам бы неплохо позаимствовать.

— Во-от как? Нам — у Германии?

— Ну да. Чего вы так удивляетесь?

— Да нет, нет. Я просто так.

— До свидания! — сказал Егоров.

— Желаю удачи! — совсем уже весело напутствовал Карп Степаныч.

— Будьте здоровы! — сказал уныло и Ираклий Кирьянович.

Егоров ушел. А Карп Степаныч медленно и грозно подошел к столу Подсушки. Как он подошел! Он надел роговые очки, которые снял было после ухода посетителя и которые обязательно надевал при волнении, засунул руки в карманы, сдвинул брови и густым басом произнес, прислонясь животом к столу:

— По-ли-ти-ческая бли-зо-ру-кость! Усы! Почему не сказали мне про усы? Я спрашиваю: почему? Я бы узнал. Он всегда носил усики, еще с института. Почему, я спрашиваю?

— К-к-карп Степаныч!.. — взмолился Подсушка. — Я, я...

— Что «Карп Степаныч»? Зачем «Карп Степаныч»? Я спрашиваю по существу: по-че-му?

— Не было графы в анкете. Графы нет по поводу усов и с какого года. Я согласно анкете...

И Карп Степаныч неожиданно сбавил гнев. Отошел от Подсушки и несколько мягче, но довольно еще грозно сказал:

— Сколько мы теряем! Сколько теряем от неполноценности анкет!

— Действительно! — ободрился Подсушка. — Усы, глаза, приметы — где это все? Как начальник может определить человека? Невозможно. Упущение колоссальное. Ведь даже у лошади в паспорте пишется: «Во лбу звезда с проточиной» или «Задние бабки в чулках». А тут — человек! Че-ло-век!

— А мы говорим: «Почему? Как враги проникают?» Вот они как проникают.

— Истинная правда, — подтвердил Подсушка. — Так они проникают.

Остаток дня они просидели молча. Работали напряженно. А часам к четырем Ираклий Кирьянович спросил:

— А этот, Егоров, кто он?

Карп Степаныч махнул рукой, поморщился и сказал в ответ:

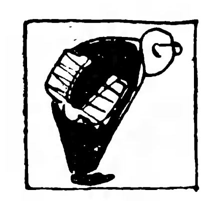
— Потом, потом. Сейчас некогда. Потом.

Затем Ираклий Кирьянович надраил, как обычно, чернильную крышку и... запустил. Здорово запустил! Думал он так: «Сейчас развею тягость дня». И сказал:

— Начнем, Карп Степаныч?

Тот посмотрел на Подсушку, потом на часы, неожиданно встал, надел пальто и ушел раньше времени (начальнику можно). Он куда-то очень спешил.

Жалобно зазвенела несчастная чернильная крышечка, прекратив южание. Ираклий Кирьянович со злостью шлепнул ее ладонью, заграбастал в горсть и со стуком надел на чернильницу: знай, дескать, свое место. Потом подпер ладонями подбородок и так просидел до конца дня, поглядывая на часы, молча, с тоской. Он думал об одном и том же: «И за каким чертом бог создал понедельники!»



ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

ВРАГ НА ГОРИЗОНТЕ

На другой день Филипп Иванович Егоров пришел к профессору Чернохарову. Профессор только вчера прибыл из Одессы, где участвовал в качестве оппонента в защите докторской диссертации доцентом Масловским. Как показалось Егорову, Чернохаров был несколько взволнован — он ходил по кабинету.

— Разрешите? — спросил Филипп Иванович, приоткрыв дверь.

— Гм... Конечно. — Он с некоторым недоумением посмотрел на вошедшего, остановившись в дальнем углу комнаты.

— Здравствуйте, Ефим Тарасович!

— Приветствую вас, дорогой! Приветствую вас!

Такое же приветствие произносил и Карп Степаныч Карлюк. И это не случайно. Он просто-напросто подражал Чернохарову.

Заметьте, Ефим Тарасович слово «дорогой» употреблял, приветствуя и знакомых и незнакомых, а Карлюк прибавлял это слово только при обращении к знакомым, так как считал, что называть незнакомого «дорогой» позволительно будет не раньше, как после защиты докторской диссертации.

— Позвольте... С кем имею честь?.. Гм... (Короткое, отрывистое мычание часто завершало мысли профессора.)

— Егоров. Помните? Ваш ученик.

— Егоров? Ученик? Ах, да! Его-оров!.. Егоров?.. Не помню.

— Тысяча девятьсот тридцать восьмой год. Вместе с Карлюком кончали.

— Постойте, постойте! Это не у вас теленок... изжевал тетрадь по учету урожая? Гм...

— Нет, не у меня. Мне только подсунули. Карлюк подсунул изжеванную.

— Э, вы все продолжаете отказываться. Помню, помню. Э! Молодость, молодость...— Ефим Тарасович рассмеялся. Весь угловатый, костистый, но с животом, висящим ниже пояса, он потряс этим самым животом, стянул губы в одну сторону и совсем закрыл маленькие глазки на широком лице. Это и означало, что Ефим Тарасович рассмеялся. — Ну, не будем вспоминать. Не будем. Садитесь, дорогой, садитесь! — пригласил он Егорова.

Филипп Иванович сел около массивного письменного стола, а Ефим Тарасович погрузился в кресло за столом. Теперь его видно было только по грудь.

— А изменились, изменились вы, Егоров... Четырнадцать лет утекло... Да. Ну и как у вас дела? Где вы?

— В колхозе.

— В науку, значит, не удалось... проникнуть?

— Как это, простите, «проникнуть»?

— Ну, может быть, неточно выразился... Гм... Все достигают. Стараются достигать вершин науки. Диссертации, обобщения... опыты.

— Вот и я буду ставить опыты. Теперь мой начальник — Карлюк. К вам прислал.

— Вот как?.. Но... вы же тогда с Карлюком как-то... Помните?

— Помню.

— А с системой земледелия? Все на стороне Масловского?

— Я на стороне колхозов, — уклончиво ответил Филипп Иванович.

— Похвально, похвально, дорогой. Самостоятельное, значит, мышление. И... все прочее... Гм... Не считаете ли вы это опасным?

— Самостоятельное мышление?

— Нет, нет. Я в смысле авторитетов. Отсутствие авторитетов у молодого научного работника приводит к бесплодности... К безуспешности... Гм...

— Думаю, главный успех должен заключаться в том, чтобы в колхозах было больше зерна, мяса, молока.

— А теория? Теоретическая наука? К забвению?

— Мне кажется, нельзя так ставить вопрос. Давно известно — теория и практика неотделимы.

— Гм...

— Не так ли?

— Гм...

— Мне кажется...

— Гм...

Филипп Иванович знал еще со времени учебы, что «гмыканьем» всегда заканчивался только-только начавшийся спор. Он осекся и перестал возражать.

А Чернохаров, видимо, считал этот спор ниже своего положения (хотя злые языки говорили, будто он стоит на высоте не своего положения). Но он все-таки сказал:

— Вы все такой же... ершистый. Трудно так... вам. Гм...

Филипп Иванович промолчал. Тогда только и возобновил разговор профессор.

— Итак, приступим к делу. Мы попробуем. Вы сами убедитесь в том, что в науке надо держаться... какой-то линии. Я дам вам тему. Поставьте ее в колхозе... на большой площади.

— Каково же содержание темы?

— Вот слушайте. — Ефим Тарасович медленно вытер платком лысину. Его безбровое лицо изменилось: он стал строг, во всех чертах выразилась непреклонность и прямолинейность. — Слушайте. Некоторые «ученые» — поняли: «ученые»? — на задворках науки — поняли: на задворках науки? — скулят о том, что на юге области не растет люцерна. Это подрыв системы... Единственной... Вильямса... Надо доказать — понимаете? — доказать надо, что... люцерна там растет. Гм...

— Но если она действительно не растет? — спросил Филипп Иванович. — Тогда как?

— Если вы захотите — она будет расти. Структура! — воскликнул Чернохаров. — Структура... А где ее взять без люцерны?

— Но если она не растет, то какая же структура?

— Если вы захотите — она будет расти, — повторил с нарочитой подчеркнутостью Чернохаров. — И корм... Гм...

— Не понимаю: как это «захотите»? — пробовал возражать Егоров.

— Вы, дорогой, погрязли в колхозе и ничего еще не смыслите.

— Еще бы! — вставил Филипп Иванович.

Чернохаров, не обращая внимания, продолжал:

— Вы должны захотеть, чтобы люцерна росла. Если вы не захотите, то вы не сможете работать. Надо покончить с идолопоклонством перед буржуазной наукой, люцерна должна расти везде. Всюду! — воскликнул он и закончил: — Гм...

Из необычно длинной для Чернохарова речи Филипп Иванович понял все. Он сказал:

— Захочу. Но... захочет ли люцерна? — И пожал плечами.

Чернохаров встал. Голова его, расширенная книзу

из-за малости лба и вообще черепной коробки, стала красной. Он обозлился, чуть-чуть попыхтел, пожевал губами, нижняя губа вздрогнула, отвисла, глаза открылись во всю ширину. Он сказал:

— Вам этой темы я поручить не могу. Гм...— И сел.

— Простите! Но ваша тема не в программе. Вот программа, которую дал мне Карлюк.

— Да. Она идет сверх плана, но по линии... По линии, руководимой Карпом Степанычем Карлюком, достойным моим учеником. И все же не могу вам поручить. Не рискую. Гм...

Встал и Филипп Иванович. Надо было уходить.

— До свидания! — сказал он.

— Будьте здоровы, дорогой! — сказал и Чернохаров, глядя уже в окно и не оборачиваясь.

Филипп Иванович направился к двери. Но вдруг Чернохаров обратился к нему, все так же не отрывая взгляда от окна:

— Вопрос. Неужели ученик Чернохарова ничего не вынес из института? Все, что вам дано, покоится на травопольной системе. Неужели ничего не осталось в голове?

— Осталось.

— Что?

— Путаница и... пустота.

— Что-о?

— Пустота, — со сдержанной злобой повторил Филипп Иванович.— Ваши студенты, выходя из стен института, практически не знали сельского хозяйства, а теоретические знания оказывались путаными. Впрочем...— Филипп Иванович безнадежно махнул рукой и вышел.

Ефим Тарасович тяжело зашагал по кабинету, сначала медленно, потом все быстрее.

Не прошло и часа, как вошел Карп Степаныч Карлюк. Он еще у дверей согнулся в дугу. Но что это за

дуга получилась, сообразить нетрудно, — она получилась только с тыльной стороны тела, а спереди была заполнена до краев благодаря идеальной полноте тела. Согнувшись в дугу, он произнес:

— Извините за то, что оторвал вас от мышления.

— Приветствую вас, дорогой! Вы очень кстати.

— Я всегда в вашем распоряжении, весь.

— Приняли этого... Егорова... вы?

— К сожалению, я. И по вине главным образом моего зама.

— Вы его хорошо помните... Егорова?

— Еще бы!

— По-моему, он был бездумен, горяч и... Гм...

— И безрассуден.

— Точно. Гм...

— Дрянь.

— Пожалуй. Гм... Как это получилось?

— Неполноценность анкетного материала.

— Возможно. Гм...

— А вы, Ефим Тарасович, дали ему тему?

— Нет. Не рискую.

— Отлично. Я был уверен. Человек он весьма...

— Опасный, — дополнил Чернохаров.

Каждый из собеседников понимал другого с полуслова, поэтому у них бывало часто так: только один начнет говорить, а другой уже завершает мысль совершенно точно.

— Что же вы думаете сделать, Карп Степаныч?

— Исправить ошибку.

— Как?

— Постепенно.

— Исправьте так, чтобы он не совал нос...

— В науку.

— Гм... Его надо...

— Уволить, — дополнил Карп Степаныч.

— Гм... И, видимо, он...
— Менделист.
— Очень похоже. Противник в зародыше. Гм...
— Интересно, о чем он говорил у вас?
— Странные вещи говорил... Клеветал на сельскохозяйственную науку. — Тут Ефим Тарасович в задумчивости прошелся по комнате. — Такие люди вообще... Гм...
— Оторваны от науки, — договорил Карп Степаныч.
— Возможно. Гм...
Они помолчали. Уселись друг против друга, побарабанили пальцами по столу. Вздохнули. Карп Степаныч спросил:
— И что же с Масловским?
— Дают кафедру здесь.
— Здесь?! — ужаснулся Карп Степаныч.
— Здесь, — подтвердил Ефим Тарасович.
— Куда же смотрит высокое начальство?
Ефим Тарасович не ответил на этот вопрос, а продолжал:
— Да, здесь. Антитравопольщик, кукурузник на кафедре! — Он попробовал рассмеяться, но только чуть подергал животом, лицо же оставалось неизменным, сосредоточенным.
— Но мы-то, мы, преданные науке люди, обязаны не молчать?
— Обязаны. И знаете, что я вам скажу, дорогой? Масловский менее страшен, чем этот... в ватнике... Егоров. Такому море по колено, ибо ему терять нечего — ему диссертацию не защищать.
— Опасный человек.
— Примите меры.
— Приму меры.
— Если оставлять таких в покое, то они могут нам вырыть... — Ефим Тарасович думал сказать «яму».

Но Карп Степаныч не совсем уразумел мысль учителя.

— Могилу! — воскликнул он проникновенно, выразив на лице и сожаление, и страх, и почтение к своему патрону.

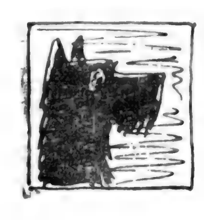
О методах борьбы они не говорили. Видимо, не раз приходилось им в острых схватках за науку применять самое различное оружие. Оба задумались. И Ефим Тарасович начал резюмировать свою мысль и результаты обсуждения вопроса.

— Итак, появился новый...

— ...враг на горизонте, — закончил Карп Степаныч.

Взаимопонимание учителя и ученика было трогательно. Им даже не требовалось развивать друг перед другом мысли, будто у них была одна голова на двоих. Но одно может показаться странным читателю: почему они оба так боялись Егорова, рядового агронома.

Что за человек этот Егоров?



ГЛАВА ПЯТАЯ

СВИНЬЯ ВЕСЕЛАЯ И СВИНЬЯ УНЫЛАЯ

В то время, когда Карп Степаныч в задумчивости шел от Чернохарова, погрузившись в раздумья о будущем сельскохозяйственной науки, Изида Ерофеевна сидела за столом дома, как и обычно. Сидела, пела и рисовала. Ввиду отсутствия служебного дела, к которому она смогла бы приложить имеющиеся в тайниках души способности и таланты, она занималась дома искусством.

А Джон сидел рядом, на другом стуле, на своем, и если Изида пела, то он иной раз подвывал; если же она рисовала, то сидел смирно, изредка повиливая хвостом. И оба они были веселы в ожидании хозяина.

Вошел хозяин, Карп Степаныч. Оба домоседа бросились к нему встречать. Но Карп Степаныч, поцеловав Изиду и потрепав Джона по шее, прошел в свою комнату, что-то там положил в ящик письменного стола и только после этого сел за стол принимать пищу. Он был хмур. Все свидетельствовало о том, что настроение у него явно унылое! Изида — наоборот. Она показала ему новую картину, на которой были изображены две свиньи: одна веселая, другая унылая, и начала рассказывать о событиях сегодняшнего дня:

— Представь себе, Карик! Нарисую свинью веселую — Джон лает, нарисую свинью унылую — он воет, — прививала она помаленьку. — Поразительный ум! Такой собаке, такому уму любой позавидует.

— Возможно, — подтверждал чернохаровским тоном Карп Степаныч.

— И управдом приходил. Такой веселый, такой веселый! Говорит: «Кланяйтесь Карпу Степанычу». А соседка, Лидка, халат купила. Ха-ха-ха! Змеиного цвета. Сама как змея, и халат — змея. Ха-ха-ха!

— Забавно, — сказал Карп Степаныч, оставаясь в унылой задумчивости.

Они поели. Но Карп Степаныч не наелся: сегодня у него разгрузочный день (плоды и прочее). Наедался же он по-настоящему только в погрузочные дни. Сегодня же ко всему тому, что произошло вне дома, прибавилось ощущение неудовлетворенности количеством еды. Отчасти поэтому он легонько и отстранил Изиду Ерофеевну, когда она, ласкаясь, прижалась к нему всей своей грациозной тушкой.

— После, после. Иза... После.

Она не обиделась, а сказала весело и иронически-ласково:

— Ты у меня сегодня — свинушка унылая.

Изида Ерофеевна легла в постель. А Карп Степаныч сел за письменный стол. Долго он сидел. Очень долго. Настойчивый человек! И опыт сидения имеется. А часам к двум ночи, когда супруга уже храпела, он прочитал еще раз написанное. Строку, куда писано, он заполнил многоточиями, так как не совсем решил куда. Заявление, против обычного, было коротким.

«В . . . .

Заявление

Как бы нам ни больно было писать о человеке, с которым один из нас учился, но голос гражданской совести обязывает нас переступить порог личных отношений.

Егоров Филипп Иванович восхваляет образ жизни в Германии, воспевает дороги за границей и прямо говорит: «Нам надо у них поучиться».

Он, Егоров, говорил одному из профессоров так: «Сельскохозяйственные институты вредны». Тем самым он оклеветал всю систему советского образования. Эту злобную клевету он высказал также при свидетелях.

Он, Егоров, категорически отрицает травопольную систему земледелия как основу и единственную базу преобразования природы.

Перед нами явный враг науки.

(Карлюк К. С.)
(Подсушка И. К.)».

И долго еще сидел Карп Степаныч и думал, думал о том, как защитить науку от возможных врагов, которых он знает и которых не знает. Всегда, когда, по его мнению, надо было защищаться, он защищался, не щадя сил, памятуя древнее правило иезуитов: «Если

хочешь победить врага, сначала оклевещи его». Он вспомнил это выражение и... успокоился. А успокоившись, стал устраиваться спать. Он разделся, подошел в одном белье к выключателю, увидел на столе «Свинью веселую и свинью унылую», посмотрел на художество, улыбнулся с каким-то горьким унынием и подумал: «Похоже. Очень похоже нарисовано». Выключил свет и лег в постель. Засыпал он спокойно под ритмичный стук часов.

Часы тикали. Время идет для всех — и для честных людей и для подлых. Идут часы, не взирая на личность. Время, время, какие поправки вносишь ты в нашу жизнь!

Утром следующего дня Карп Степаныч отправился на работу. Подсушка, как обычно, уже сидел на своем месте. Глаза у него были красные, как от бессонницы. Он не спал прошедшую ночь. Его волновал вопрос: «Кто же такой Егоров, если даже Карп Степаныч проявил момент растерянности?» Ему мерещилось черт знает что. Он ничего не понимал в происходящем, поэтому возненавидел Егорова. И еще примешивалось ощущение неудобства от того, как он «засыпался» с пшеном в разговоре с этим «человеком в сапожищах». Если бы Подсушке сказали: «Поди дай ему в морду, этому Егорову», то Подсушка обязательно пошел бы, но ударить... Нет! Не мог бы он этого сделать — слишком мягкий и не очень смелый характер у Ираклия Кирьяновича.

И вот сидел Подсушка и думал. Вошел Карп Степаныч. Вошел, стал перед столом Ираклия Кирьяновича, не раздеваясь (что было необычно), и таинственным голосом, тихо, но четко, с расстановкой и прищурив глаз, сказал:

— Я так и знал...

Затем он моргнул одним глазом и только тогда

пошел раздеваться. Раздевался медленно, покашливая и сопя. А Ираклий Кирьянович как вытянулся, приготовившись к приветствию, полусогнулся, выразив обычную утреннюю улыбку, — так и остался, бедняга. Было что-то важное в словах Карпа Степаныча, очень важное, что-то страшное, скребущее когтями душу и спину, так что боязно пошевелиться. Мыслей не было. Да и к чему они ему, мысли-то, если он ничего не понимает из всего этого? Даже и не подберешь слов для определения состояния Подсушки. Мягко выражаясь, можно сказать, что он обалдел.

Карп Степаныч сел за стол, посмотрел на подчиненного и, обеспокоившись, спросил с тревогой:

— Что с вами, дорогой?

— Здравс... Карп-п-п Спанч! — ответил тот с присвистом. И только после этого сошла с лица улыбка. Он вспотел и наконец-то сел.

— Приветствую вас, дорогой! — вошел в колею и Карп Степаныч. — Вы чем-то озабочены?

— О чем? О ком? Кому? Чему... вы сказали: «Я так и знал»?

— Ах, да!.. Я вижу в вас, Ираклий Кирьянович, душу честную, болезненно и беспокойно принимающую к сердцу боль вашего начальника и друга. Вы в науке моя правая рука. И на вас надеюсь.

— Я... Да... Но... — Тут Подсушка чуть не прослезился, но удержался и вопросил уже более человекоподобно: — Чрезвычайно?

— Сверхважно, — ответил Карп Степаныч еще более серьезно.

А дальше все было почти без слов.

Ираклий Кирьянович вытянул шею. А Карп Степаныч втянул шею в плечи, поднял предостерегающе указательный палец, скосил глаза, наклонив голову в сторону перегородки, затем поднял уже большой палец.

И показал за перегородку. Этот жест означал следующее: «Дело сверхчрезвычайное. За перегородкой — человек, бухгалтер. Будьте бдительны!»

Подсушка понял все и приложил ладонь к губам, что следовало понимать так: «Понял. Молчу как рыба. Жду!»

Теперь Карп Степаныч вытянул шею из плеч, сделал весьма серьезное лицо, нахмурив брови и отпустив губы, и согнутым указательным перстом поманил Подсушку: «Иди, значит, беспрекословно — и все узнаешь».

И тут Ираклию Кирьяновичу вспомнилось: маленьким мальчишкой он наблюдал, как озорники ребята, перебросив веревочку с рыболовным крючком, тащили через забор индюка. Индюк тот по глупости схватил крючок, наживленный фасолью, и потом покорно повиновался озорникам. Тогда еще Ираклий-мальчик подумал: «Идет, дурак, без никаких возражений!..» Почему такое печальное воспоминание вдруг всплыло в памяти Подсушки, сказать трудно. Но все это мелькнуло у него в голове на секунду. В следующую секунду он уже бесшумно, на носках, подошел к столу Карпа Степаныча.

А тот развернул свое заявление и дал прочитать Подсушке пять слов: «Перед нами явный враг науки».

Подсушка двумя пальцами провел туда-сюда над верхней губой, изображая усики и выражая вопрос: «Егоров?»

Карп Степаныч наклонил голову в знак подтверждения.

Подсушка в удивлении и возмущении развел руками.

Карлюк тоже развел руками.

Оба затем многозначительно переглянулись и вздохнули сокрушенно. Помолчали.

Но тут Карп Степаныч поднял кулак и опустил его на стол, скрипнув зубами: «Бить, значит, требуется».

И Подсушка сделал то же самое: «Бить!»

После таких жестов, утверждающих обоюдное согласие, Карп Степаныч дал прочесть уже заявление. Подсушка прочитал. Начальник жестом показал, что надо расписаться. И немедленно под заявлением оказались две подписи, еще вчера проставленные в скобках.

— Честный человек не должен об этом молчать,— сказал теперь вслух Карп Степаныч.

— Именно, — подтвердил Ираклий Кирьянович.

Но тут произошло нечто необычное. За перегородкой, там, где входили все четыре работника Межоблкормлошбюро, заскрипела дверь: кто-то вошел. И вдруг уже в их кабинете появился бухгалтер Щеткин и сказал, запыхавшись и волнуясь:

— Прошу извинить за опоздание. Мальчик у меня заболел.

— Это что значит? — вопросил басом и с соответствующим сопением Карлюк. — Где вы были?

— Дома. Дома был. Только сейчас вошел.

— Не может того быть! — возмущался начальник.

— Клянусь! — воскликнул Щеткин.

После этого Карп Степаныч, обращаясь к Ираклию Кирьяновичу, тихо произнес:

— Эх, вы!.. Р-растяпа!

А тот действительно в расстройстве совсем упустил из виду — сел за стол бухгалтер или нет.

Щеткин же ничего не понял: то ли начальник обвиняет Подсушку в либерализме насчет опоздания служащих и невыполнении внутреннего распорядка, то ли это продолжение начатого ранее разговора между ними.

Черт их поймет! Щеткин сильно осерчал. И сразу же выпалил:

— Так нельзя. Вы часто даже не замечаете — есть я или нет... А проходите мимо ежедневно. Я человек!

Карп Степаныч сначала удивился, потом тоже осерчал и воскликнул:

— Как вы смеете?!

— Так вот и смею. Не буду я у вас работать!

— По какой причине, смею вас спросить? — уже с ехидцей проговорил Карлюк.

— По двум причинам, — ответил Щеткин и сел бесцеремонно против Карлюка. — Первая: я человек. Вторая: не вижу пользы от всей вашей, а следовательно, и моей работы.

Карп Степаныч встал. Ираклий Кирьянович сел. Потом Карп Степаныч сел, а Ираклий Кирьянович встал. Щеткин же как сел, так и сидел. Карп Степаныч обратился к Ираклию Кирьяновичу:

— Что это значит?

— Что это значит? — спросил в свою очередь, рикошетом, Ираклий Кирьянович у Щеткина.

— Это значит, что хотя я смирный и робкий человек, но честный. — У Щеткина тряслись руки от волнения.

Карп Степаныч встал и отошел к столу Подсушки. Оба они там посмотрели друг другу в глаза, поняли друг друга без единого слова, и начальник сказал просто и спокойно:

— Пишите заявление.

— Не снимаете, значит?

— По собственному желанию уйдете. И характеристику получите... хорошую.

Щеткин встал в полном удивлении: фуражка выпала у него из рук, но он этого не заметил и наступил на нее.

— Не удивляйтесь, товарищ Щеткин. Не удивляй-

тесь, — повторил Карп Степаныч. — Все просто. Вы у нас работали четыре месяца. Мы не поняли друг друга. Вот и все. Но в вас я ценю именно человека... смелого и... все такое... трудолюбивого и... все прочее.

В тот же день Щеткин написал заявление об уходе. Все обошлось хорошо. Карп Степаныч не любит ссориться.

Затем Карп Степаныч поручил Подсушке подыскать подходящую кандидатуру на место Щеткина. И они приступили к очередной работе. Ираклий Кирьянович чистил чернильную крышечку, готовясь к очередному турниру.

И день кончился так же, как и обычно: они снова не смогли вырваться с работы раньше половины седьмого. Но, уходя, оба вдруг помрачнели.

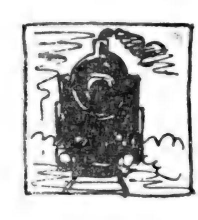
— Егоров, — сказал Карп Степаныч.

— Егоров, — сказал и Ираклий Кирьянович.

Это значило, что мысли каждого занимала та же самая личность. И что они так испугались этого Егорова?

Чтобы ответить на этот вопрос, надо знать всю жизнь Карпа Степаныча Карлюка. Но об этом несколько позже. Пока что Карп Степаныч занимается вопросом подготовки докторской диссертации и готовит материал о том, что может есть лошадь и что она должна есть. Он накапливал опыт: бывал на защитах диссертаций, изучал процесс защиты, вырабатывал и дополнял правила защиты. Попутно заметим: многое он почерпнул на одной защите, состоявшейся в зооветинституте, на тему: «Микроскопические исследования яичников домашней кошки в связи с проблемой животноводства и обновления породистости рогатого скота». Очень ценная была работа! И процесс защиты весьма и весьма поучительный. Так что не стоит спешить с рассказом о прошлой жизни Карпа Степаныча, поскольку сам он живет

настоящим моментом. Более того, необходимо вернуться в описании событий на два дня назад и поговорить о том, что же творилось за спиной Карлюка сразу после того, как он был у Чернохарова и когда принимал меры к ограждению науки от «элементов».



ГЛАВА ШЕСТАЯ

ДВА ДРУГА

В то время, когда Карлюк сидел за вечерней трапезой, Филипп Иванович Егоров стоял на перроне вокзала в ожидании поезда. Он прохаживался по перрону, время от времени поглядывая на часы. Было семь вечера. Никаких вещей, кроме полевой сумки, у него не было. Он ждал профессора Масловского.

Подошел поезд из Одессы, и Егоров заторопился, почти побежал к вагону номер пять. Он был уверен, что профессор приехал в мягком вагоне. Пассажиры выходили один за другим, но Масловского не оказалось. «Значит, задержался», — подумал Филипп Иванович и направился вдоль поезда к выходу в город. И вдруг он увидел: у самого заднего вагона мелькнул плащ Масловского. Он тряс руку пожилого колхозника (видимо, попутчика по вагону) и что-то горячо говорил. Филипп Иванович заспешил к профессору. Но тот уже широко зашагал от поезда, проскочил выход, решительно открыл дверцу такси и помахал шляпой колхознику, все еще стоявшему на перроне. Филипп Иванович спе-

шил, проталкиваясь в потоке выходящих пассажиров, и крикнул:

— Герасим Ильич!

Но его возглас слился с паровозным гудком. Дверца захлопнулась, и автомобиль, набирая скорость, сразу скрылся из глаз.

Филипп Иванович вскочил в первый же трамвай и помчался по следу профессора. Минут через двадцать он был уже в квартире Масловского,

Дверь открыла ему домашняя работница, Мария Степановна, рослая, сухая, сморщенная старуха, обвязанная цветастым платком.

— Дома? — спросил он у нее.

Та удивленно посмотрела на него и сказала:

— Э! Да вин после поезда ще часа два буде блукать. Такой уж... — Она махнула рукой и добавила: — Шалопутный!

— Не очень лестный отзыв, — сказал, улыбаясь, Филипп Иванович.— А я, значит, попал на ложный след.

— Ему хучь кол на голови теши — не поест, не попьет вовремя.

— Пойду распутывать след.

— Ну иди, иди... Да гони ты его в шею домой. Ведь голодный небось. Не задерживай, смотри! — сказала она строго и погрозила пальцем.

Филипп Иванович пошел на опытное поле института. И не ошибся. Герасим Ильич стремительно шагал по дорожкам меж делянок, а молодой научный сотрудник еле поспевал за ним. Филипп Иванович догнал их и пошел позади.

Профессор говорил на ходу.

— Неужели вы не понимаете простой вещи! — воскликнул он, размахивая шляпой. Седые волосы ерошил ветер, но казалось, они шевелились от возбуждения профессора.

— Был здесь директор, — оправдывался научный сотрудник, — и сказал мне: «Зачем торчат сорняки? Почему торчат сорняки? Удалить немедленно! Ожидаем экскурсию, а у вас сорняки на делянке». Ну, я и...

— Вы не имели права полоть эту делянку! Вы испортили опыт. Вас судить надо! — кричал Масловский.

— Герасим Ильич! — почти жалобно пытался возражать его собеседник.

— Что ж из того, что Герасим Ильич! Я еще вам намылю шею за такое!

Филипп Иванович подумал: «Та-ак. Суд заменяется намыливанием шеи. Все идет как и полагается. Знакомое дело».

Профессор и его сотрудник остановились около одного из опытов. Герасим Ильич повернулся лицом к делянкам и посмотрел сбоку на Филиппа Ивановича.

— Вы?! — воскликнул он.

— Я.

— Откуда?

— Иду по следу. С вокзала, — отвечал Филипп Иванович шутливым тоном.

— По какому следу? Вы за каким зверем охотитесь, позвольте вас спросить?

— За профессором Масловским, смею доложить!

— То есть как это так? Значит, вы были на селекционном участке?

— Нет. Не был. Решил сразу пройти сюда.

Герасим Ильич начинал сбавлять строгий тон. Он подошел к Филиппу Ивановичу, подал руку и, не выпуская его руки, спросил:

— Значит, с вокзала?

— С вокзала. Ездил вас встречать, но... не догнал. Хотел поздравить и порадоваться с вами, Герасим Ильич.

— Ну... этого... не надо...

— Поздравляю от души! И радуюсь.

— Ну... Спасибо. Спасибо вам. — Герасим Ильич положил руку на плечо Филиппа Ивановича и поцеловал его. — И в горе меня не забывали и в радости не забыли. Спасибо!

— А я иду позади, — снова заговорил шутливым тоном Филипп Иванович, — и думаю, слушая вас: «Ну, попал на судебный процесс!»

Герасим Ильич покосился на своего научного сотрудника и сказал, обращаясь к Филиппу Ивановичу:

— Остались дети на хуторе и такую ерунду напутали! Добрая пословица! Вот он напутал без меня. Вот смотрите: эта делянка обработана химикалиями против сорняков. А вот на этой делянке проведена тщательная прополка, без химической борьбы. На той же делянке... Пошли, пошли! — Он потянул за рукав Филиппа Ивановича. — Вот. На этой делянке сорняки должны быть целехоньки — ни химикалий, ни прополки. А он прополол!

— Только крупные сорняки. Только те, что выше растений, — оправдывался научный сотрудник.

— Ни единого! Ни единого нельзя трогать! — снова загорячился Герасим Ильич. — Цель опыта: выяснить не только видимое действие химической борьбы с сорняками, а сравнить урожай и установить, действительно ли эта борьба может заменить тщательную прополку и какой экономический эффект дает. Все в опыте должно быть точно и ясно до возможного предела. Понятно?

— Я знал... Но... директор...

— Даже министр над вами не властен, если у вас есть мысль, идея, открывающая перспективу увеличения урожая. Да, да, министр! Что вы смотрите так удивленно?.. Исследователь всегда свободен. Более того, он иногда сам себя «подрубает» и... радуется этому.

— Как это понять? — спросил Филипп Иванович.

А научный сотрудник, юноша, которого Филипп Иванович видел впервые, уже и не пытался задавать вопросы. Он только слушал.

— Как понять? — говорил Герасим Ильич. — Вот как понять... Пошли, пошли! — Он шагал быстро и широко, размахивая рукой, увлекая за собой собеседников. В конце блока делянок он остановился. — Видите, Филипп Иванович? Колышки видите в гнездах кукурузы?

— Вижу.

— На конец каждого колышка нанизана картофелина и — зарыта в почву на четыре-пять сантиметров. Мы рекомендовали в свое время, и я, заметьте, подписал ту рекомендацию: для борьбы с проволочником на овощных и кукурузе использовать картофель. Проволочник любит вгрызаться в мякоть картофелины. А через день-два картофелина извлекается из почвы с этим колышком. Проволочника уничтожают. Так мы рекомендовали. И были уверены, что это хорошо — оградить линией картофеля пятна, зараженные проволочником. Даже два колхоза подтвердили это на семенных участках овощных... Ну, конечно, благодарили и... все прочее...

— Никак не пойму, при чем же здесь «подрубание» самих себя? — спросил Филипп Иванович.

— Ну какой же вы нетерпеливый! Смотрите соседнюю делянку. Здесь в почву внесен гексахлоран — и нет проволочника. Совсем нет! Агроном Московской области Крутиховский установил: гексахлоран — спасение от проволочника, а урожай при этом увеличивается на двадцать процентов. Вот мы провели его исследования. И что же: мои четырехлетние исследования покатились к чертям! Идея Крутиховского отрицает мою начисто. И я рад этому. — Герасим Ильич неожиданно обернулся к научному сотруднику и сказал: — Понимаешь, Коля,

очень рад этому отрицанию. Мы с тобой проверили данные Крутиховского и тем самым подрубили самих себя. И радуемся. Правда же?

— Да, правда, — с улыбкой ответил Коля.

Герасим Ильич обратился к Филиппу Ивановичу:

— Вот мы с Колей решили: часто бывает так, что новое в исследовании заключается в отрицании предыдущего исследования, опыта, эксперимента. Так, Коля? — Он толкнул его локтем.

— А судить его будем? — спросил Филипп Иванович у Масловского, подмигнув Коле.

Герасим Ильич прямо-таки отпрянул от Коли, надвинул шляпу поплотнее и повторил строго.

— Я еще намылю ему шею. — И пошел вдоль делянок второго блока. — Он у меня еще узнает кузькину мать... «Директор, директор». Может быть, тебе Черноходов прикажет?.. Я вам! — грозил он на ходу кому-то.

Филипп Иванович дернул за рукав Колю и тихо сказал:

— Оставьте его на минутку. Дайте успокоиться. Я его знаю.

— А вы откуда?

— Агроном колхоза. Кончал когда-то этот же институт. А вы давно у Герасима Ильича?

— В прошлом году окончил. Ну... он и оставил меня здесь.

— Счастливый вы человек, Коля, — сказал Филипп Иванович.

Герасим Ильич ходил, ходил и как-то сразу, неожиданно, остановился невдалеке. Потом крикнул:

— Эй вы, заговорщики! Идите сюда.

Когда «заговорщики» подошли, он спросил у Коли:

— Это вы заборонили пар после дождя?

— Я.

— Кто приказал?

— Никто. Сам решил.

— Молодец. Правильно. — Он помолчал чуть и добавил: — Впрочем, путайте, ошибайтесь, но... не очень сильно ошибайтесь... Не так, как с сорняками...

Солнце совсем опустилось к горизонту. Повеяло прохладой. Растения на делянках навострили верхние листочки, слегка опущенные днем; от делянок на дорожки легла короткая тень. Герасим Ильич застегнул плащ, окинул взором поле, посмотрел на Колю, на Филиппа Ивановича; потом взял в горсть клинышек бородки и, задумавшись, повторил:

— Ладно. Ошибайтесь. Но... не очень сильно.

Через несколько минут они были в квартире Герасима Ильича. Сели на диван рядом.

— Ну, рассказывайте, какие новости в колхозе?

— Новость на всю волость — сняли меня с работы. Уже я не колхозный агроном.

— Что?! — воскликнул Герасим Ильич. Он вскочил и заходил по комнате, говоря: — И какова же причина? Впрочем, можете не отвечать на этот вопрос. Все ясно... Все ясно... Ясно, — повторял он, взявшись за клинышек бородки и продолжая ходить из угла в угол. — Агроном, ненавидящий рутину и консерватизм в агротехнике, оказывается «опасным» человеком. Все ясно, все ясно... Но все-таки расскажите.

— На свой риск перенес травы в пойму, получил огромный урожай сена, а полевой севооборот сделал не двенадцатипольный, а шестипольный... Соединил по два поля в одно. Увеличил площадь зерновых на двадцать процентов. И вот «за игнорирование травопольного севооборота, за самовольство и анархизм в агротехнике (так и записано), за нарушение агроправил»... освобожден.

— И что же вы теперь?

— Что ж, из колхоза не пойду.

— Но жить-то надо чем-то?

— Нашел работу. — Филипп Иванович положил на стол приказ Карлюка. — Вот, опыты буду ставить в колхозе. — Он внимательно следил за выражением лица Герасима Ильича, пробегавшего глазами бумагу.

А тот поднял глаза и удивленно, так, что густые брови вскинулись на лоб, спросил:

— К Карлюку? Вы?.. Не понимаю. Вы сошли с ума!

— Я буду иметь возможность ставить и свои опыты.

— Ах, та-ак!.. Пожалуй... Это мы подумаем... Вы еще не сошли с ума... Но вас нагрузит Чернохаров «по линии Карлюка» так называемыми производственными опытами.

— Уже все — не нагрузил. — Филипп Иванович рассказал о событиях последних двух дней. — Не доверяет мне Чернохаров, — заключил он.

— Тогда Карлюк вас просто-напросто уволит. Все, кто мешает «массовому внедрению» исследований Чернохарова, из системы научно-исследовательских учреждений увольняются. И скажу прямо: иногда с большими... неприятностями, мягко выражаясь...

— Не уволит, — уверенно перебил Филипп Иванович.

— Откуда такая уверенность? Вы забыли, как «избивали» меня, обвиняя в менделизме, морганизме и прочих смертных грехах? — Герасим Ильич все больше волновался. — Вы многого не понимаете. Чтобы защитить свою диссертацию, мне пришлось ехать в другой город. Но все-таки и туда приехал Чернохаров в качестве неофициального оппонента. Более пятнадцати лет готовая диссертация, обошедшая все столы в некоем научном учреждении, пролежала без движения. А почему? Да потому, что клеветники сделали из меня менделиста-морганиста, хотя я никогда в таковых не состоял. Нет, вам надо уходить самому... Но...

— Но бросить колхоз сейчас я не могу. Это значит

согласиться с обвинениями, поставить крест на всем, что сделано мною в поле, согласиться с тем, что не нужны радикальные изменения, согласиться с тем, что все колхозники будто бы уже живут богато. Не могу!

— Да. Это правильно. Но ведь вас же...

— Не уволит, — еще раз повторил Филипп Иванович с еще большей уверенностью.

— Послушайте, где вы добыли такую самоуверенность? Когда уверенность переходит в самоуверенность — это плохо. Вы уже не так молоды, вам уже около сорока, а утверждаете как-то так... Мой жизненный опыт подсказывает совсем другое... Да что же это я? Вот так принял гостя! Мария Степановна! Мария Степановна! Милая Мария Степановна! Вы там чего-нибудь того-этого...

— И того есть и этого есть, — ответила Мария Степановна, входя с подносом, на котором, кроме всего прочего, по-хозяйски занимала главное место бутылка коньяку.

— Ну, Филипп Иванович! — весело сказал Герасим Ильич. — Теперь о делах, о науке, о колхозах — ни слова! Только на веселые темы.

Они сели за стол. Выпили за «докторскую». Поговорили о рыбной ловле, вспомнили какого-то необыкновенного сазана, который ломал и рвал снасти, но наконец был подведен к лодке и все-таки... ушел, подлец.

— Вот какой был! — восклицал Герасим Ильич, показывая руками. — Царь-сазан! Выдающееся явление среди сазанов!

— А помните, как вы с лодки-то?

Оба рассмеялись.

— И главное в чем,— сквозь смех говорил Филипп Иванович. — Сам-то в воде — в одежде барахтается! — а сам кричит: «Шляпа! Моя шляпа где?» А шляпа-то в лодке осталась.

Бывает так, встретишься с человеком и не сразу его поймешь. Но вот он засмеется искренне и неподдельно, от всей души, и сразу полюбишь такого человека. Есть в настоящем смехе что-то такое, что открывает дверцы в тайники человека.

Филипп Иванович уже видел подергивание живота Чернохарова, выражавшего этим приемом смех, и именно поэтому-то он еще больше любил Масловского в тот вечер, когда они ужинали вдвоем.

Посмеялись-посмеялись собеседники, отдышались, покачали головами.

— Ну и ну, — произнес Герасим Ильич.

— Прочистили мозги, — заключил Филипп Иванович.

— Посмотрел бы на нас Чернохаров!..

— А ну их! — махнул рукой Филипп Иванович.

— Кстати, давайте-ка посмотрим тематику Карлюка. Мне кажется, там больше чернохаровского.

Филипп Иванович достал программу опытов, врученную ему при назначении, и они углубились в изучение тем, забыв, что решили не говорить о делах.

— Так, — начал первым Герасим Ильич, читая отдельные темы вслух. — «Посев пшеницы яровизированными и неяровизированными семенами». Не ново: два десятка лет испытываем яровизацию. Ну-ка, что тут еще?.. «Подзимний посев яровой пшеницы...»

— Вы смотрите десятую тему, — предложил Филипп Иванович, улыбаясь.

— Десятая, — читал Герасим Ильич, — «Экономические обоснования скармливания овощных конскому поголовью». — Он бросил тематический план на стол и, как обычно в волнении, заходил по комнате, засунув пальцы в карманы жилета. — И это все в то время, когда вопрос о кормовой базе для всех животных, а не

только для лошади надо решать немедленно и радикально: силос, зерно, сено.

— Все возможно! — Филипп Иванович засмеялся. — Тысячу лет известно, что лошадь любит свеклу, но редька — тоже ведь овощная культура. Э, была не была! А не заняться ли мне испытанием скармливания редьки жеребятам?

— А чеснока — коровам, — добавил Герасим Ильич.

— Предана забвению вечная истина: «лошади едят овес». Вот и надо искать заменители...

Герасим Ильич улыбнулся, но улыбка погасла сразу же. Он спросил:

— Как это там у него?.. «Что ест конь...» И как дальше?

— «Что может есть лошадь и что она должна есть», — уточнил Филипп Иванович. И вдруг взялся всеми десятью пальцами за волосы и неожиданно поник головой. Так же резко вскинул ее и стукнул кулаком по столу; взялся за борта пиджака, стянул так, что он затрещал на спине, и сказал: — Герасим Ильич! Никакого движения вперед в сельском хозяйстве не будет, если мы не повысим доходность колхозов. Все эти темы, все диссертации — все мелко по сравнению с самым важным. Неужели этого не видят?.. — Он снова опустил голову в задумчивости.

А Герасим Ильич подходил к Филиппу Ивановичу, трогал его за плечо и уходил снова в другой конец комнаты. Снова подходил и снова уходил. Он теребил седой клинышек бородки, смотрел в пол, закладывал руки за спину, но никак не находил места в комнате, где бы остановиться. И вот он подошел еще раз к Филиппу Ивановичу, уже поднявшему голову, и сказал:

— Вы член партии. А вот видите, как...

— Простите, Герасим Ильич. Простите, не выдержал.

— Вот вы все такой же горячий. И такой же... прямой. Трудно вам жить...

— А вам легко? Вы научили прямоте.

Герасим Ильич не ответил на вопрос, не подтвердил утверждения Филиппа Ивановича. Он присел на стул против него и, будто продолжая свою мысль, говорил:

— Вот и Карлюку вы наговорите чего-нибудь. Обязательно наговорите, и — фьюить! — уволит. А в «науке» так: ненавидишь, а говори приятности. Такая есть научная вежливость. Например, встретит меня завтра Карлюк и рассыплется в поздравлениях, а я, понимаете ли, обязан благодарить за телеграмму, посланную им в день защиты. И ничего не поделаешь. Так уж принято.

— И это очень нехорошо. Орудуя этой самой «вежливостью», и присасываются к науке карьеристы, подхалимы, блудословы. И им никакого отпора. Все в вежливой форме.

— Его могу я не любить, но уважать его обязан... Кто это сказал?

— Не знаю.

— Я тоже не знаю, но слова помню.

— От бюрократизма это идет.

— Возможно. Может быть, скорее от чинопочитания.

— А какая разница? — махнул рукой Филипп Иванович. — Не переваривает у меня нутро такого отношения.

— Это хорошо... — Герасим Ильич задумался. — И хорошо... и трудно вам будет. А все-таки вы идите так. Именно так. Главная наука в жизни — научиться ходить прямо.

Филипп Иванович смотрел на учителя благодарным взглядом. Он уже успокоился, этот неуравновешенный и горячий, иногда опрометчивый агроном. Нет, не неожиданными и беспричинными были частые перемены на-

строения у Филиппа Ивановича — горячее отношение к жизни влекло за собой быструю смену чувств.

— А если уж говорить откровенно, — продолжал Герасим Ильич, — то не очень-то и я одарен этой научной вежливостью, сами знаете. Не стоит об этом. Давайте-ка поговорим о другом: что собираетесь делать. По-моему, главное в опытной работе заключается в том, чтобы любым научным опытом помогать повышению урожая.

— Но тематика рассчитана на диссертацию.

— К сожалению, вы по должности волей-неволей будете закладывать «опыты» по тематике. Но исходить надо из требований производства зерна, мяса... Каждый опыт должен быть поставлен с точной целью.

— Что бы вы рекомендовали?

— Надо подумать... Давайте подумаем вслух. Вместе.

— Давайте, — оживился Филипп Иванович.

— Что вы считаете самым главным в агротехнике?

— На это трудно ответить сразу. Каждый прием в общем комплексе важен.

— По-моему, комплекс комплексом, а самое главное в агротехнике сейчас — сорня-ки. Наши поля повсеместно настолько засорены, что становится нелепостью, скажем, такой прием, как внесение удобрений. Смешно же удобрять... сорняки! А есть ли в какой-либо эмтээс карты сорняков, учет запаса их семян в почве? Разработаны ли конкретные меры борьбы с сорной растительностью по каждому колхозу? Ничего этого нет, батенька мой. В промышленности и технике мы достигли чудес (это без преувеличения). А вот в поле у нас сорняки губят половину урожая, добрую половину. Рассчитывать в этом деле только на трудолюбие и дисциплину колхозников — по меньшей мере близорукость.

— Да еще население из городов помогает в прополке.

— Ну, это уж совсем странно. Удивительно много мы затрачиваем труда на борьбу с сорняками на поле, а между тем надо решать это по-другому: нужны агротехнические меры такие, чтобы уничтожить сорняки совсем.

— Что вы предлагаете сделать конкретно?

— Поставить широкий опыт с уничтожением сорняков: метод химической борьбы, различная глубина пахоты. Перенести наши опыты на колхозное поле. Только возьмите обязательно отстающий колхоз, самый худший в районе.

— Не понимаю, — развел руками Филипп Иванович.

— Подумайте как следует и поймете. У нас принято изучать и обобщать только опыт передовых колхозов.

А «опыт» отстающих попросту замалчивается. А мы обязаны изучать факторы, снижающие урожай. Не зная болезни, нельзя ее лечить.

— Вы выразили и мои мысли! Понял! — воскликнул Филипп Иванович.

— А я это знал. Вы только их не высказали... Вот вам одна тема. Теперь другой вопрос: проволочник, или, по-народному, «костяника». Вы сегодня видели наш опыт. А какой огромный запас этого маленького вредителя на полях колхозов и в особенности на целине. Разве кто-нибудь обследовал поймы на этого вредителя? Нет. А его там местами до двухсот-трехсот штук на квадратный метр! Это страшно... Понимаете, каждый пятый центнер поедает проволочник!

— Невероятно! Половину — сорнякам, пятую часть — червякам, а одну треть — в закрома.

— Вот и попробуйте. Поставьте опыты на большом массиве. Докажите. Мы обязаны доказать, — Герасим

Ильич, пристукивая пальцем по столу, раздельно повторил: — Обя-за-ны!

— Вы так часто подчеркиваете слово «обязаны», что будто принимаете вину за низкие урожаи на себя.

— Да, принимаю. И вы принимайте. А когда почувствуете, что обязаны, вы уже не сможете не бороться. Все это кажется очень мелким — сорняки, червячки! Но в этом простом кроется великое: огромные урожаи. Огромные урожаи — если, кроме всего этого, применять систему агротехники, разработанную для каждого колхоза в отдельности.

— Уже две темы есть! — воскликнул Филипп Иванович. — «Подумали вслух»! Здорово подумали!

— Десять есть. Сто есть! Помните: если в научном опыте есть мысль, идея, подсказанная практикой, то он, опыт, уже наполовину сделан.

— И если эти результаты опытных исследований возвратятся к родившей их практике, то они обогащают ее.

— И вызывают новые мысли, идеи. Это и есть наука, батенька мой. Вы, сами того не замечая, уже много лет как приобщились к настоящей науке, вы — рядовой, обыкновенный агроном.

— Вот приобщился и — уже не агроном колхоза. — Филипп Иванович задумался. А через некоторое время сказал, будто продолжая мысль: — Уж очень много стало людей, убежденных в том, что и вопросы агротехники должны решаться там, вверху, что нужна своеобразная централизация агротехники.

— Чертовски это плохо для науки! Тут самая прочная почва для конъюнктурщиков. Но, к сожалению, есть такие люди, есть.., — Герасим Ильич замолчал, взялся снова за клинышек бородки, остановился посреди комнаты, и, смотря в пол, размышлял вслух: — А еще сказать, хуже всего такая линия, когда о науке думает

один человек, а все остальные должны только подтверждать его мысли. Отсюда все. — Он поднял палец вверх, не отрывая взгляда от пола и будто не замечая уже и Филиппа Ивановича. — Во! Подтверждать мысли другого. Вот какая роль сельскохозяйственной науки. Во! Чудеса в решете!.. — Медленно опустив палец и тыкая им вниз, он настойчиво повторял одно и то же: — Все равно земля потребует! Народ потребует! Партия потребует!.. — Масловский снова сел против Филиппа Ивановича, опустив ладони меж колен, и сказал: — Вот оно какое дело-то, батенька мой.

Они замолчали. Сидели и молчали. Думали.

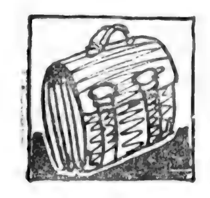
Потом Филипп Иванович сказал, вздохнув:

— Трудное положение в сельскохозяйственной науке.

— Трудное. Но — верю! — временная трудность. Надо решительно поднимать голос за настоящую науку.

— Надо, — все так же в задумчивости поддержал Филипп Иванович. — Я знаю теперь, что делать.

Рано утром, часов в пять, когда солнце взошло над городом, Филипп Иванович уже шагал к вокзалу. Он знал, что ему надо делать. И поэтому утро было хорошим.



ГЛАВА СЕДЬМАЯ

«ЛИЧНОЕ ДЕЛО»

А Карп Степаныч тем временем спал.

Часов в девять он проснулся. Посидел немного на кровати, стараясь с утра думать научно, но мысли почему-то не шли. Он почесал ногой ногу, но мыслей не было:

как провалились! Наконец-таки пришла мысль: какой сегодня день? Постепенно он установил точно, что сегодня четверг, день, абсолютно безопасный по всем приметам. Это его успокоило, однако же от этого покоя мысли еще дальше залезли в какие-то закоулки и не желали вылезать. Так он и сидел неподвижно, по-утреннему припухший, с обвисшей нижней губой и приподнятыми вверх бровями, будто удивляясь тому, что никаких мыслей нет. Он был уверен, что такое состояние не есть следствие отсутствия ума, что, наоборот, ум у него есть, и даже большой, но пока что нет пищи для этого самого ума.

Вскоре обнаружились и признаки пищи. Изида Ерофеевна вошла в спальню всклокоченная, но в белом фартуке и с вилкой в руке. Она постояла в дверях, посмотрела на мужа и спросила:

— Сидишь?

— Сижу, — ответил он хрипловатым спросонья голосом.

— И долго так будешь глядеть жабой? — беззлобно уточнила она.

— Мыслей нет, — все так же полусонно ответил Карп Степаныч.

— Давай одевайся. Завтрак готов.

Карп Степаныч умылся, оделся и сел за прием пищи. И чем плотнее набивал желудок, тем энергичнее вылезали мысли. Он позавтракал, крякнул и заявил смело:

— Прекрасно!

И это была бы блестящая мысль, если бы не Изида Ерофеевна. А она задала простой вопрос:

— Что там у тебя с этим Егоровым?

— А откуда ты знаешь? — поставил контрвопрос Карп Степаныч.

— Слух дошел, — неопределенно ответила Изида Ерофеевна, но, конечно, не сказала о том, что, как и обычно,

открыла своим запасным ключом письменный стол мужа и прочитала его заявление.

Мысли у Карпа Степаныча заработали. Он нахмурился и, ничего не отвечая на вопрос жены, ушел к письменному столу в другую комнату. Там он достал папку «Личное дело», сунул в портфель и направился на работу, в Межоблкормлошбюро. Но, уходя, сказал жене:

— О Егорове молчать. Ничего не случилось.

— «Врагу не сдается наш гордый варяг», — пропела Изида Ерофеевна, улыбаясь. И, подтянувшись на носках, поцеловала мужа в щеку.

Это было так приятно, что Карп Степаныч, чувствуя поддержку друга, улыбнулся тоже. Да и чем, собственно говоря, быть недовольным? Сыт, обут, одет, сберкнижка есть. Что же касается диссертации, то он ее защитит.

Шел он на работу пешком, переваливаясь утицей, наполненный пищей и мыслями. Он думал о том, что вот придет в свое учреждение и начнет руководить и что руководить умеет не каждый, в особенности в науке; будет руководить, а потом со временем станет доктором сельскохозяйственных наук.

Карп Степаныч глянул на часы: десять! Даже ему, руководителю, опаздывать на полтора часа неудобно. И он заспешил.

Спокойные и сытые мысли прекратились сразу же, как только он открыл дверь своего учреждения. В двери он неожиданно столкнулся с Чернохаровым. Да как столкнулся! Чернохаров выскакивал в этот момент из учреждения, а Карп Степаныч спешил войти в учреждение. Чернохаров почему-то горячился. Дверь они открыли одновременно и так больно столкнулись, что вытаращили глаза друг на друга и долго не могли произнести ни слова.

— Вы? — наконец выдавил Чернохаров.

— Я, — ответил Карп Степаныч. — Виноват...

— Виноват... Ох! — вздохнул Чернохаров.

Наконец они все-таки сели друг против друга. От боли оба стали грустными.

— Я спешу, — уныло сказал Чернохаров. — Ждал вас полчаса... Опаздываете.

— Виноват, Ефим Тарасович... Дела. Задержался.

— Вот... Дела. Есть дела поважнее.

— Что вы хотите этим сказать, Ефим Тарасович?

— Сегодня всю ночь до рассвета вдвоем... — начал Чернохаров.

— Кто?

— Враги. Егоров и Масловский. Видимо, готовят на нас...

— Донос?

— Возможно. Еще раз проверьте свои...

— Документы и личные дела, — уже перехватывал Карп Степаныч мысли учителя.

— И ускорьте...

— Понимаю.

— Ваше должно быть впереди, чем ихнее.

— А может быть, они не писали? — будто сомневаясь, спросил Карп Степаныч.

— Смотрите, вам виднее, — ответил Чернохаров так, будто уж и не важно ему все это, однако добавил: — Предусмотрительность и предосторожность — родные сестры. Гм...

Карп Степаныч понял, что разговор окончен и что собеседник зашел именно затем, чтобы высказать последнюю философскую мысль. А Ефим Тарасович встал и вышел из комнаты.

Карп Степаныч только теперь поздоровался с Подсушкой, сел за стол и глубоко задумался. В голове возник вопрос: «Чем они могут меня взять?» После этого он положил перед собой папку. В этом домашнем «Личном деле», кроме копий документов официальной папки, которая хранилась где-то в сейфе, были записки от про-

фессоров и к ним, пригласительные билеты на торжественные заседания или ученые советы, справки с места жительства разных лет, копии назначений и увольнений и даже давнишняя записка от некой дамы, обожающей науку в лице Карлюка. Первым листом была анкета — «Личный листок по учету кадров». В этот-то вопросник жизни и вник сейчас Карп Степаныч, думая все об одном и том же: «Чем они могут меня взять?» Он читал свою анкету и вспоминал жизнь. Всю жизнь! И казалась она ему чистой, как стекло.

В самом деле, анкета Карпа Степаныча была зеркалом образцовой чистоты и трудолюбия человека. По этой анкете, право же, ему надо быть академиком или даже больше. Очень хорошая анкета у Карпа Степаныча! Начнем рассмотрение этого весьма важного документа вслед за Карпом Степанычем прямо с первых вопросов.

«Фамилия, имя и отчество — Карлюк Карп Степаныч». Значит, отцом его был Степан Карлюк.

«Место рождения... Год и месяц рождения — 1903, декабрь». Значит, родился в пургу и морозы. Такого человека надо обязательно выдвигать — крепкий здоровьем должен быть.

«Социальное происхождение — крестьянин». И в скобках — «середняк».

Тут Карп Степаныч вспомнил прошлое.

Вот он мальчишкой в родном доме. Отец, могучий ростом крестьянин, имел только одну корову. А Обломковы имели двадцать две, а Чухины — двадцать шесть. Карпуха же (так звали в те годы Карпа Степаныча) видел, как отец работал день и ночь, стараясь разбогатеть, видел и то, что из этого ничего не получалось: давили Обломковы. Но отец часто повторял:

— А ты тянись, Карпуха, достигай.

Карпухе было лет тринадцать или четырнадцать, когда пришла революция. Лет восемнадцать — к началу нэпа. И Карпуха тем временем уже учился, весьма энергично перебиваясь с двоек на тройки (учение давалось ему туго).

Когда он поступил в институт и приезжал на каникулы, то отец говаривал:

— Я вот всю жизнь тянулся. А глянешь назад — одна только работа, каждый день работа. Может быть, хоть ты не будешь работать. Ты достигай. Уважай учителям, профессорам и — достигай. Кто выше тебя по чину, тот и обидеть тебя может. Но ты не обижайся, а ласкай: выгода — другой раз не обидит, а тебя же и почтит. И главное дело, достигай. Может, и не будешь тогда работать. Ученые люди, они не работают. Достигай.

Так постепенно и вырос Карпуха на закваске такой философии: учиться, чтобы не работать. И линия жизни его выражалась в одном слове: достигай!

«Тут, — думал Карп Степаныч, сидя за анкетой, — они меня не подкусят. Чистый середняк».

И он изучал свою анкету дальше.

«Состоял ли в оппозициях? — Никогда, нигде и ни при каких обстоятельствах не допускал и мысли».

«Был ли за границей? — Не был, не собираюсь и не поеду ввиду того, что мне там делать нечего».

Так продуманно отвечал Карп Степаныч Карлюк на все вопросы анкеты. Но на одном вопросе — только на одном! — он вдруг споткнулся и... вспотел. Вопрос обыкновенный: «Участвовал ли в боях в Отечественной войне». И ответ простой: «Нет». А вспотел. Миллионы людей спокойно ставят такие ответы, зная, что и в тылу нужны были люди. Знал это и Карп Степаныч. Но и Егоров-то тоже кое-что знал. Не будь Егорова — чистота анкеты была бы алмазной. Теперь же вот сиди, об-

хватив голову руками, и думай и вспоминай, чего не следовало бы вспоминать.

А случилось все так.

...Немец приближался к городу. Шли войска, ехали обозы, танки, пушки — Красная Армия отступала. По обочинам дорог и проселкам, по всей Европейской России двигались эвакуированные жители. Кто как: кто пешком, кто на лошади, кто просто двигал впереди себя или тащил за собой тележку с немудреным скарбом и пищей. Люди переживали величайшее несчастье — уходили из родных мест; они видели отступающие войска, и сердце каждого сжималось при мысли о худшем. Вражеские самолеты десятками висели над городами и селами, наводя ужас и смятение, распространяя всюду смерть.

Вот в такие-то дни заволновался и Карп Степаныч, стал мрачным. Изида Ерофеевна потихоньку плакала. Вечерами они подолгу сидели и советовались, а чаще спорили о том, что делать. Так шли дни. Уже разрывы снарядов стали слышны по ночам — бои приближались. В то время Карп Степаныч не был еще, по его собственному выражению, «наукоруком», а просто подчинялся Чернохарову. И вот он пошел получить распоряжение: не пора ли эвакуироваться? (Никаких указаний об эвакуации пока не было.) Но, придя к Чернохарову, он нашел пустую квартиру: тот выехал в неизвестном направлении. Карп Степаныч побежал домой, задыхаясь, толкая по пути прохожих. Он ворвался в свою квартиру и выпалил:

— Иза! Немцы!!

Изида Ерофеевна почему-то не совсем волновалась в данную минуту и сказала:

— Ну и что же?

— Собирайся!

— С какой такой стати?

Тут Карп Степаныч взял стул и без спора, замахнувшись им на супругу, выкрикнул:

— Я кандидат наук! Повесят! Ну? — И вопросительно потряс стулом над головой.

Потом он убежал куда-то. Потом приехал на подводе, запряженной парой лошадей. На той подводе уже сидела сторожиха сада института с мальчиком. Карп Степаныч и Изида Ерофеевна быстро собрались. Они взяли с собой самое необходимое: альбомы рисунков Изиды Ерофеевны, «Личное дело» Карпа Степаныча, документы, деньги, два пуда соли, мешок пшена, два пуда солонины, мешок муки, два пуда сухарей, Джона с его постелью, двадцать две коробки спичек, две перины и четыре одеяла, пять бутылок кипяченой воды, пять пачек аспирина и пять пачек пургена, по два костюма на каждого и кое-что другое, самое необходимое в неведомом пути. Все это нагрузили так, что лошади еле стронулись с места, а сторожиха с мальчиком пошли пешком за подводой. Потом где-то в пути сторожиха добровольно (хотя и со слезами, но по собственному желанию) уволилась от Карпа Степаныча, пересевши на другую подводу со своим немудреным мешком сухарей. Карп Степаныч дал ей на прощание три стакана соли, а Изида Ерофеевна «точила» его за такой необдуманный и непростительный поступок и твердила:

— Самим не хватает, а он раздает. Растяпа!

А Карп Степаныч отвечал мудро:

— Самое трудное из всех подражаний — быть щедрым.

— Начитался, черт, разных глупостей, — заключила супруга, не вникнув в суть.

Так они и ехали. На восток, и на восток, и на восток. С лошадьми Карп Степаныч умел обращаться еще с того далекого времени, когда жил в деревне. По пути он выменял за десять стаканов соли три мешка овса и был

спокоен — они уехали от боев, в кармане у него бронь.

Но однажды случилось то, чего никто не ожидал. Супруги вынуждены были остановиться около одного городка, при въезде в который висело такое объявление: «Всем эвакуированным военнообязанным, проживающим временно, а также проезжающим, явиться в военкомат. Наличие брони от явки не освобождает». Было ясно: принимались попытки к переучету всех едущих на восток. После короткого совещания с Изидой Карп Степаныч в город не поехал, а остановился на опушке леса поразмыслить, взвесить. Тут они и заночевали.

И вот ночью на далекий тыловой городок, не имеющий особого военного значения, налетел немецкий самолет. Карп Степаныч, находясь в нескольких стах метрах от городка, отдыхал в дорожной палатке, когда услышал первые звуки «мессершмитта». Впервые он услышал, как воют бомбы. В первый раз он ощутил сотрясение земли от взрыва. Впервый раз в жизни он оказался в жутком смятении от канонады зениток (видимо, какая-то воинская часть шла ночью к фронту). И было Карпу Степанычу так страшно, так страшно, что он трясся всем телом, прижимался к Изиде и искренне считал, что здесь, в этом самом месте, и находится граница его личного земного существования. Изида Ерофеевна крестилась. Ночь была беспокойной.

А утром Карп Степаныч, оставив Изиду Ерофеевну одну, отправился в военкомат. С половины пути он вернулся, но, подумав, снова пошел. Однако опасения его были напрасны: бронь возымела действие, и Карп Степаныч через два-три часа возвращался в добром расположении духа.

Потом пришел к своему табору, предполагая немедленно двинуться в глубь Сибири. Но тут, на опушке леса, он увидел войска. В лесу маскировали орудия,

разбивали палатки. Свежая воинская часть шла на фронт (ее-то, наверно, и бомбил самолет), а теперь располагалась здесь до ночи. А у своей повозки Карп Степаныч увидел... Егорова Филиппа Ивановича! Тот стоял, облокотясь на грядушку повозки, и разговаривал с Изидой Ерофеевной. В капитанской форме Филипп Иванович сразу внушил уважение Карпу Степанычу, и он долго тряс офицеру руку, приговаривая:

— Друзья встречаются вновь... Очень рад... Очень и очень рад... Друзья встречаются... как говорится... Очень рад... Очень рад!

— Мы, кажется, не очень-то были дружны,— сказал Филипп Иванович.

— По делам и поспорить можно, но... юность, юность! Куда, куда вы удалились, и тому подобное! Очень рад!

— И все-таки попрошу вас освободить место. Здесь располагается временно мое подразделение.

— И куда же вы направляетесь? — спросил Карп Степаныч.

— Туда, — неопределенно ответил Егоров и так же неопределенно махнул рукой.

— Понимаю. Тайна, стратегический план, — многозначительно сказал Карлюк, подмигнув, и стал запрягать лошадей.

— А вы-то куда же? — спросил Филипп Иванович.

— Туда — в Сибирь, — ответил Карп Степаныч.

— Бронь, что ли, заимели?

— Как кандидат наук.

— О, уже кандидат!

Но тут вмешалась в разговор Изида Ерофеевна, возымевшая большую симпатию к Егорову с первого разговора, а потому и ставшая откровенной.

— У него ведь такие крупные знакомства. Такие крупные! Иначе он тоже тянул бы лямку, как и вы. Не

имей сто рублей, а имей сто друзей, — заболтала она. — Профессор Чернохаров и бронь-то ему... Наука, она...

Карп Степаныч опешил.

Егоров нахмурил брови и сжал зубы.

Изида Ерофеевна стушевалась и замолкла, отдаленно догадываясь о том, что она сказала что-то не так.

Егоров, круто повернувшись, отошел, остановился вполоборота и грубо, как недругу, крикнул:

— А ну живо очищайте место!

Карп Степаныч поспешил отъехать. Добра от этой дружеской встречи он не предвидел.

Долго они ехали молча. Полдня ехали. Наконец Карп Степаныч сказал первое слово:

— Дура!

Изида Ерофеевна ничего не сказала, а наотмашь ударила мужа туфлей по голове. Покормили лошадей и поехали дальше. Молчали снова до вечера. Вечером же Карп Степаныч, укладываясь спать, еще раз сказал:

— Дура!

На этот раз Изида Ерофеевна возражала не очень, так как туфлей бить не стала. Тогда Карп Степаныч стал ее воспитывать и по этой причине спросил:

— Для чего человеку дано два уха и только один рот?

— А я почем знаю, — ответила супруга.

— Два уха и один рот даны человеку для того, чтобы он, человек — высшее создание природы, слушал в два раза больше, чем говорил.

— Это ты к чему? — чуть-чуть уже соображая, спросила она.

— А к тому: сейчас война, болтать тебе меньше надо.

— Я уж тоже думаю... Да все как-то... не получается.

— Сознание ошибки — признак доброго сердца, — заключил Карп Степаныч.

Он простил супругу. И больше не вспоминал.

И вот после долгих лет Карп Степаныч встретил Филиппа Ивановича. Теперь он сидел над анкетой и вспоминал, вспоминал. Наконец он решил мысленно:

«Здесь он может меня взять за рога. Может насплетничать. Может даже написать куда-либо. Такие люди все могут... Итак, или он меня, или я его — одно из двух. Надо сделать так, чтобы ему не поверили. Попробую. — И рассуждал дальше: — В чем сила человека? В выборе надежного средства в борьбе. Какое средство? Это не имеет значения. Для утверждения в науке все средства хороши».

После этого Карп Степаныч стал исследовать вопросник жизни еще тщательнее. Наиболее долго он остановился на том пункте, где стоял вопрос: «Ученая степень». Ответ написан жирными буквами: «Кандидат наук». Думал он, думал и задал сам себе вопрос:

— Не могут ли они укусить здесь?

И стал вспоминать, как он защищал диссертацию и каких это стоило усилий и напряжения его большого ума и воли.

Но, повествуя об этом, нельзя обойтись без особой главы, ибо в сельскохозяйственной науке до некоторых пор защита диссертаций протекала совсем иначе, чем в таких науках, как, скажем, технические. Там-то ведь очень просто: изложил человек свои научные исследования на бумаге, толково написал о том, к чему привели эти многолетние исследования и чем практически завершились, и все. Нет, в сельскохозяйственной науке вся эта музыка была куда сложнее. Здесь надо было сначала уметь выбрать тему, какова я может быть даже и совсем бесполезна для сельскохозяйственной практики, но обязательно чтобы

научная. И много-много других отличий и особенностей, о которых речь впереди. И мы не будем отвлекаться, а будем исследовать по порядку и только в связи с «Личным делом» Карпа Степаныча Карлюка — кандидата сельскохозяйственных наук. Куда уж лучше пример!

По всем этим причинам в следующей главе пойдет одна сплошная наука.



ГЛАВА ВОСЬМАЯ

ВОСПОМИНАНИЯ О ТОМ, КАК КАРЛЮК СДЕЛАЛ ДИССЕРТАЦИЮ И ЧТО ДИССЕРТАЦИЯ СДЕЛАЛА ИЗ КАРЛЮКА

Прежде всего перед Карпом Степанычем стояла проблема: где и какую тему выбрать для защиты. В то время он работал кем-то вроде научного сотрудника на поле сельскохозяйственного института под непосредственным и испытанным руководством Чернохарова. С легкой руки последнего на опытном поле института ликвидировали тогда опыты, а поставили прямую задачу: вырастить только высокий урожай вместо изучения вопроса—как его получить. Лишь два года спустя хватились: эва! А ведь без опытов-то обойтись нельзя! И стали опять же вести опытную работу. Одним словом, не углубляясь в этот вопрос особо, скажем, что несколько лет подряд сельскохозяйственный институт работал по методу ХВНЗ — НВХЗ, то есть: «Хвост вытащил — нос завяз, нос вытащил — хвост завяз». Насколько нам известно, там было так: то уничтожали травы, то снова сеяли, то рубили лесные полосы, то снова сажали.

Карп Степаныч никак не мог выбрать тему. Пробовал взять в оборот «Сорняки одного района», но оказалось, что на сорняках района, прилегающего к институту, защищено уже четыре диссертации, а сорняков там и по сей день уйма. Даже больше стало! Карп Степаныч видел, что диссертанты «питаются» сорняками, и сам он хотел питаться так же, но ему это не удалось, так как на последней по этому поводу диссертации выступил председатель колхоза, агроном, и сказал, что надо бы не только исследовать сорняки, а и научить, как их уничтожить. Нет, для Карпа Степаныча это не подходит. Да и небезопасно. Именно к этому времени и относится появление первого пункта правил защиты диссертации. Эти правила впоследствии оказались детально разработанными Карпом Степанычем Карлюком еще задолго до защиты диссертации, когда он тщательно изучал все, что связано с этим многотрудным делом.

В результате предварительных обобщений у Карпа Степаныча в его «Личном деле» (домашнем) появился такой лист. На правом углу — девиз: «Достигай!» В заголовке: «Правила защиты диссертации». И дальше следуют пункты:

«1. При выборе темы никогда не берись за такие вопросы сельского хозяйства, которые еще не апробированы, ибо на них можно сломать шею. А ученый со сломанной шеей перспективы иметь не может.

2. Самое важное в защите диссертации — выбор официальных оппонентов. Выбирай оппонента не слишком сведущего, но и не слишком далекого от защищаемого вопроса. Если выбрать совсем несведущего оппонента, то он будет тебя хвалить за то, за что надо умеренно бранить.

3. Парализуй возможного противника. Обращайся к нему за консультацией и делай вид, что следуешь

только его советам. Если ж эти советы нелепы, тогда тем более принимай их и не возражай.

4. Качество диссертации проверяй на домашних (людях), по примеру других. (В этом месте у Карпа Степаныча перечислены девять фамилий диссертантов, при проверке диссертаций которых он лично присутствовал.) Доброкачественная диссертация не должна вызывать абсолютно никаких эмоций, как-то: смеха, возбуждения, озлобления, судорог, восклицаний и прочего. Если какие-либо места вызовут что-либо подобное у домашних (людей), то немедленно переделать эти места. Если же диссертация вызывает зевоту или даже глубокий сон, то это признак ее доброкачественности, ибо так же пропустят мимо ушей возможные ошибки и члены ученого совета.

5. Достигай! (Еще раз!) Благодари и кланяйся. Кланяйся и благодари! Это польстит членам ученого совета. Они тоже люди».

Так-то вот постепенно и готовился к вступлению в степень кандидата сельскохозяйственных наук уважаемый товарищ Карлюк. Он выступал на собраниях и всяких совещаниях, начинал обличать тех, кто был уже обличен, начинал помаленьку давить тех, кто был уже раздавлен, поддерживать тех, кто и без того стоял крепко. Все это дало ему звание активного научного сотрудника, несмотря на то что большинство сослуживцев почему-то его не любило. Оставалось только выбрать тему. Однако и этот трудный этап разрешился впоследствии.

Однажды Карп Степаныч присутствовал в областном управлении сельского хозяйства на весьма важном совещании. В перерывах участники совещания ходили по коридорам парами и тройками и энергично обсуждали, горячились, высказывали резкие суждения, чтобы потом снова молчать, выслушивая штатных ораторов. Конечно,

и Карп Степаныч тоже ходил по коридору, но ни с кем не спорил и не горячился. И вдруг он неожиданно услышал в одну из открытых дверей разговор двух. Один говорил так:

— Черт ее знает что получается! Опять то же самое: в начале месяца вспашки — нуль; в середине — подъем; в конце месяца — полный энтузиазм.

Второй спрашивал:

— Это о чем речь?

— О тракторной вспашке.

— А при чем тут части месяца?

— Видимо, имеется какая-то связь с фазами луны: в первой четверти — плохо, во второй — лучше, в полнолуние почти совсем план выполняется, а в последней четверти завершается.

— Влияние фаз луны на выработку тракторов...

Собеседники раскатисто рассмеялись этой шутке, будучи, видимо, людьми веселыми, не лишенными остроумия, а поэтому и симпатичными.

Карп Степаныч настолько заинтересовался этим разговором, что не выдержал и вошел в комнату. Он расспросил о плане тракторной вспашки, о результатах выполнения плана по месяцам. Затем осторожно попросил познакомить его с выполнением плана по неделям месяца. Ему сказали (те же два весельчака), что последнее очень сложно, что требуется дополнительное исследование материала по сводкам машинно-тракторных станций и что если ему это очень надо, то ему предоставят материалы (а им, дескать, такими пустяками заниматься некогда).

Дома Карп Степаныч засел за исследование сводок и донесений, годовых отчетов МТС и многого другого. Это было настолько интересно и настолько безопасно с научной и политической точек зрения, что его вскоре осенила выдающаяся мысль. И он воскликнул:

— Есть тема!

Сначала тема была еще туманной, но потом, с каждым днем исследований, выступала все более четко и, наконец, как принято говорить, оформилась полностью в сознании диссертанта. Карп Степаныч сперва написал так: «О колебаниях выполнения плана тракторами». Показалось слишком просто и совсем не научно, потому что очень коротко. А надо обязательно длинно. Думал, думал он и написал так: «О выработке машинно-тракторного парка и о его колебаниях». И это его не удовлетворило. Около двадцати разных названий придумал он. В конце концов тема все-таки зазвучала вполне научно. Окончательно получилось такое солидное наименование: «О влиянии метеорологических условий в различных фазах луны на общую выработку машинно-тракторного парка в переводе на гектары условной мягкой пахоты по массивам машинно-тракторных станций средней черноземной полосы».

И пошло дело! Карп Степаныч изучил влияние луны на приливы и отливы, учел влияние луны на погоду, попутно установил, что среди трактористов не зарегистрировано ни одного лунатика, и, наконец, вывел определенную и точную закономерность: чем дождливее погода, тем меньше выполнение тракторных работ. Он сам поразился своим исследованиям. Пугала невиданная новизна вопроса. Затем он вник, по возможности, в вопросы планирования, организации труда. Триста страниц на машинке получилось у Карпа Степаныча. Труд! Большой труд!

И вот он преподнес профессору Чернохарову толстый том. Положил на стол, склонил голову и сказал:

— Моя судьба в ваших многотрудных руках.

Через несколько дней Чернохаров позвал его к себе. Карлюк пришел, стал в дверях и поклонился молча. Поклонился, разогнулся, но совсем головы не поднял.

— А ну идите, идите ближе, дорогой, — позвал профессор.

Подошел Карп Степаныч. Сел. Смотрит в пол, задумавшись.

— Тут, в этом томе, — Чернохаров постучал пальцем по диссертации, — много оригинального. Но...

— Я готов исполнить любые ваши советы, — поспешил поклониться Карлюк.

— Похвально... Полагаю — необходимы практические выводы для производства. Гм... Вы можете своими исследованиями изменить коренным образом систему учета выработки тракторного парка.

— А именно? — спросил несмело Карлюк.

— Надо подумать. Видимо, необходимо давать сводки из эмтээс в два приема: а) до полнолуния и б) после полнолуния. Гм... Это самое внесет ясность и обеспечит цикличность и прочее. Гм... Гм...

А коль Ефим Тарасович гмыкнул два раза подряд, то разговор уже больше не возобновится. Карп Степаныч встал. Взволнованный, он выскочил с диссертацией под мышкой вон из кабинета.

Трудно было Карлюку достигать. Для этого не одну фазу луны пришлось потрудиться. Диву даешься: как это он выдержал такое напряжение?

Официальный оппонент Чернохаров Ефим Тарасович постарался подобрать и рекомендовать и второго оппонента. Все было готово к защите точно по разработанным Карлюком правилам.

И вот настал день защиты. Страшный судный день!

Сначала все шло нормально. Председательствующий объявил имя, отчество и фамилию диссертанта, а также и тему с полным наименованием. Ученый секретарь огласил автобиографию и характеристику научной деятельности диссертанта (характеристику подписал Чернохаров). Карп Степаныч за тридцать минут

изложил краткое содержание работы (и никто не улыбнулся!). Затем присутствующие задавали вопросы. Зачитали свои отзывы официальные оппоненты, отметили недостатки диссертации (много недостатков). Отмечать возможно больше недостатков полагается, но это не имеет ни малейшего значения для исхода дела. Все шло хорошо до тех пор, пока не выступил добровольный, так называемый неофициальный оппонент — доцент Масловский Герасим Ильич. При воспоминании об этом выступлении Карп Степаныч сжимал кулаки и усиленно сопел. Этот Масловский выступил совершенно против тех доводов, которые высказывал официальный оппонент Чернохаров. Чтобы уточнить несходство мнений насчет диссертации Карлюка, достаточно воспроизвести две речи.

Чернохаров говорил очень веско, в высшей степени научно:

— Многоуважаемые и почтенные члены ученого совета!.. Гм... Мы видим, как молодые силы входят в науку по нами протоптанной дорожке. Гм... Путь в науку тяжел. Гм... Я буду объективен и беспристрастен. С этой точки зрения настоящая работа представляет интерес. Гм... В ней есть новое. Есть оригинальное, но... Гм... Все, что в ней ново, не оригинально, а все, что оригинально, не совсем ново. Я беспристрастен. Я — принципиально: есть противоречия. Но тем не менее убежден в том, что соискатель искомой степени, Карлюк Карп Степаныч, достоин искомой степени. Я полагаю, что это будет единодушным мнением. Гм... И надеюсь на дальнейшие экспериментальные работы соискателя. Гм...

А доцент Масловский выступил совсем не научно. Он сказал примерно так:

— Уважаемые коллеги! Можно ли допустить мысль, что нам представят на рассмотрение диссертацию на тему «Луна и коровы»? Мне кажется, такую мысль до-

пустить можно. Свидетельством того служит настоящая диссертация. Это плод какого-то странного недоразумения, если не сказать — недомыслия. Мягко выражаясь, нам представили не диссертацию, а фикцию для проведения проформы присвоения ученой степени. Мне, товарищи, стыдно.

Многие сочли его выступление грубостью, плохим тоном, недостойным ученого, нашли отсутствие такта и так далее и тому подобное. Главное же в том, что по правилам не полагается выступать вторично на таком ученом совете: высказался и садись — ни опровержений, ни возражений.

Все это Карп Степаныч учел. Когда ему дали заключительное слово (так полагается), он на все это ответил речью:

— Глубокоуважаемые члены ученого совета! (И поклонился.) Я искренне, от всего сердца, благодарен за ту критику, которую я слышал здесь. (И еще поклонился.) Бесспорно, мой труд имеет колоссальные недостатки, но я постараюсь всей своей жизнью исправить их в дальнейшей научной работе. (Здесь он преклонил голову, будто стоял перед алтарем.) Я не буду возражать уважаемому Герасиму Ильичу Масловскому. Нет. Я чувствую скромность моего труда. Но мне хотелось бы, чтобы мои, хотя и слабые, исследования послужили в какой-то степени вкладом в разрешение весьма насущной проблемы. Прошу вас не осудить меня за резкость и учесть тяжесть моего самочувствия. (Здесь у него голос задрожал. Он приложил руку к сердцу и поклонился.) Я еще раз благодарю всех выступивших, в том числе и глубокоуважаемого доцента Масловского Герасима Ильича. (И еще раз поклонился, уже затяжным, последним поклоном.)

Однако выступление Масловского совсем расстроило диссертанта.

Когда выбирали счетную комиссию, к Карпу Степаныч подошла Изида Ерофеевна и тихо спросила, так, чтобы слышал он один:

— Официальный ужин готов. Можно приглашать?

Карп Степаныч ответил:

— Все провалилось. Ужин отменить.

Изида Ерофеевна вышла. Потом снова вернулась и дополнила:

— Я больше не могу оставаться... Если надо, позвони.

А дома с двумя приглашенными соседками она, разбирая стол, разбила со зла две тарелки, облилась киселем и костила Масловского:

— Вредно ему, дьяволу, что мой будет кандидатом. Сам-то кандидат, да еще и доцент. А чтобы дать другому — вредно. Чертова собака на сене.

Она ругалась и еще более крепко. Джон лаял.

И вдруг звонок! А в телефоне голос Карпа Степаныча.

— Иза! Иди немедленно приглашай. Кажется, успех.

Он звонил в тот момент, когда ему показалось, что все обойдется, потому что Ефим Тарасович шепнул ему на ушко:

— Ничего. Не такие проходили. А эта проскочит как миленькая. — И похлопал его по плечу, да еще и животом потряс (то есть улыбнулся).

Когда же счетная комиссия разбирала результат тайного голосования и Карпу Степанычу по выражению лиц показалось, что «против» больше, нежели «за», он написал Изиде Ерофеевне записку: «Ужин отменить. Все пропало».

Так он мучительно и переживал: то впадал в отчаяние, то воскресал духом.

Но вот счетная комиссия объявила результат тайного голосования: «за» — на один (только на один!) голос больше.

Все! Карлюк Карп Степаныч стал кандидатом сельскохозяйственных наук. Он, Карлюк, встал. Его, Карлюка, поздравляли некоторые. А некоторые почему-то просто уходили молча.

Был ужин. Пили. Пели. Ели. Хвалили.

А когда все разошлись, кандидат сельскохозяйственных наук Карлюк, шатаясь из стороны в сторону, добрался до стола, взял свою объемистую диссертацию, посмотрел на нее с ненавистью, сдвинул брови, с ожесточением бросил наотмашь под кровать и проговорил с остервенением:

— У, вражина! Сколько крови выпила! — И, помолчав, добавил: — А с этим Масловским мы еще повоюем: попомнит Карлюка.

На следующий день Карлюк уже не кланялся научным сотрудникам и прочим, кто ниже его. Вот что сделала диссертация из Карлюка. Человеком стал! Да и не только человеком (об этом — чуть позже).

...Но ничего этого в анкете, над которой думал Карп Степаныч, не значилось. Там было записано просто: «Кандидат сельскохозяйственных наук».

Мысль о том, что Егоров и Масловский написали о нем куда-то, не давала покоя Карпу Степанычу. Если уж Чернохаров предположил такое, то Карп Степаныч вообразил, а затем возвел воображаемое в действительность. Товарищ Карлюк не трус — избави боже! — но инстинкт самосохранения сидел и в нем, как и во всяком животном. Поэтому он еще раз подтвердил мысленно тезис: защищайся нападением. Однако прежде чем напасть, он тщательно продумывал, старательно ощупывал места, за которые могли бы укусить его враги. С этой целью он и думал над своей анкетой.

По линии отца и матери — все в порядке. Они не были ни помещиками, ни становыми. Так что с происхождением обстояло все, по его выражению, «на большой палец». Образование его находилось на высоте: кандидат! В прочности этого положения сомнения не было. И все-таки его что-то беспокоило: а вдруг Егоров...

Уже и перерыв на обед скоро. Уже Ираклий Кирьянович осмелился кашлянуть. А Карп Степаныч все сидел и все думал и думал, вспоминая.

Итак, он стал кандидатом наук. А что дальше? Дальше случилось так, что по возвращении из эвакуации Чернохаров посоветовал принять вновь открываемую организацию — Межоблкормлошбюро. Нужны были кадры для работы в областных городах. В обязанности этих работников входило следующее: если сверху спустят бумажку, то Облкорм обязан спустить ее еще ниже, до опорного пункта, где работали только два человека, а чаще — один; если же этот человек напишет бумажку наверх, то Облкорм обязан эту бумажку принять и поднять еще выше. Так вот и работалось: спускали и поднимали бумажки. А опыты, если они и ставились в колхозах, обобщались вверху, в Главкорме, и на этих обобщениях сотрудники Главкорма в свою очередь защищали диссертации, не проводя никаких исследований лично. Всем было очень хорошо.

Как бы там ни было, Ефим Тарасович Чернохаров дал Карпу Степанычу отличную характеристику и напутствовал его перед поездкой на утверждение такими словами:

— Во-первых. Самостоятельная работа и никакого начальства рядом. Во-вторых. Докторскую обсосете за тройку лет, не выходя из-за стола... В-третьих. Мои темы широко пойдут в колхозы по вашей линии... Надеюсь. Гм...

И Карп Степаныч отвечал:

— Я всегда в вашем распоряжении.

Он поехал в Москву, в Главкормлош. Ну конечно, подал он рекомендацию, заполнил (заранее) анкету, написал заявление, и его, как кандидата наук, без размышлений утвердили. На этом все оформление и закончилось.

Затем одному господу богу известными путями Карп Степаныч узнал об авторе фотоавтомышеистребителя, отыскал Ираклия Кирьяновича (каковые водятся, к его счастью)' и направил его на утверждение вверх. При наличии трех характеристик утвердили и Подсушку. Хотя, как уже известно, Ираклий Кирьянович не имел особого образования, но в качестве младшего научного сотрудника в свое время мог работать любой имеющий тягу к науке. А Ираклий Кирьянович, конечно, имел такую тягу. Карлюку же почему-то не очень хотелось иметь своим помощником человека, сведущего в защитах диссертаций. Здесь, видимо, богатый жизненный опыт подсказывал решение.

И когда все утряслось, то есть купили все необходимое для работы в сельскохозяйственной науке — столы, стулья, шкафы, бумагу, чернила, несгораемый сейф,— Карп Степаныч, не задумываясь, решил начинать докторскую диссертацию. Очень долго он думал над названием темы. Пока, временно, коротко обозначил известную уже нам тему «Коню корм» сокращенным шифром — «КК». В проекте же у него записано несколько длинных названий. Одно из них было уже подчеркнуто красным карандашом и звучало так:

«К вопросу о кормлении лошади с ретроспективным обзором предмета по исследованиям прошлого века и перспективах комплексного скармливания продуктов в целях экономии дефицитной и высококалорийной про-

дукции в условиях социалистического сельского хозяйства и в целях воспроизводства конепоголовья».

Были еще и другие названия, но красным карандашом не были подчеркнуты. Мы поэтому имеем полное основание считать, что соискатель остановился на вышеприведенном названии.

Итак, кандидатская диссертация сделала из Карпа Степаныча Карлюка не только человека, как упоминалось выше, а еще и соискателя искомой докторской степени. (Да простится мне заимствование оборотов речи из научного лексикона Ефима Тарасовича Чернохарова.)

И снова ничего не нашел Карп Степаныч в своей анкете, ничего плохого. Следовательно, гвоздем его жизни стал Егоров. Тот самый Егоров, которого он сам назначил себе в подчиненные! «И каких только чудес не бывает на свете с этими кадрами», — думал Карп Степаныч. И все было ясно — Егорова надо морально уничтожить. Чтобы не выглядывал из-за анкеты и не портил впечатления.

Карп Степаныч оторвался наконец от анкеты, вздохнул, скорбно посмотрел на Подсушку и произнес:

— Так-то вот, дорогой мой Ираклий Кирьянович!

— Вы о чем? — несмело спросил тот.

— Егоров нас опередил.

— А именно?

— Он написал о нас с вами.

— Куда? — в страхе спросил Ираклий Кирьянович.

— Пока неизвестно куда. Но написал.

— Как же теперь нам быть?

— Наше придется подавать, волей-неволей.

— Подавать. Обязательно, — подтвердил Подсушка. — Подавать.

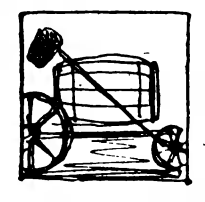
— И в этом ничего зазорного. Ничего. Мы за науку. Мы боремся. А в таких случаях, как я слышал от одного

командира, бери те средства, что есть под рукой, действуй тем оружием, которым хорошо владеешь. Это — философия жизни.

— Ум и справедливость всегда у вас на уме, Карп Степаныч.

Карп Степаныч был польщен.

А вечером он запечатал три конверта, в каждый вложив известное нам заявление на Егорова, надписал три разных адреса. Затем пошел, темной ночью опустил все три конверта в почтовый ящик. А придя домой, лег спать и ласкал Изиду Ерофеевну. И ничего особенного во всем этом не было...



ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

БЕСПОКОЙНАЯ ДУША

Филиппа Ивановича Егорова мы оставили в то время, когда он ранним утром шел на вокзал. Станция, на которой утром же следующего дня он вышел из вагона, отстояла от его родного колхоза «Правда» всего лишь на десять километров. Филипп Иванович осмотрелся вокруг, ища попутную автомашину. Машин не оказалось. Было пять утра. Ждать до восьми-девяти — получается три часа безделья. Филипп Иванович решил идти пешком: что означают десять километров для ног колхозного агронома! Пустяк. И зашагал, помахивая полевой сумкой. Пошел напрямик, межполевыми дорогами.

Июньское утро выдалось на редкость тихим и ясным. Шел агроном по полям.

Рожь отцвела, но ее колосья стояли еще прямо, не поникнув. Озимая пшеница была ниже ржи ростом, но зеленая, как лук. Острые, похожие на ланцетики, листочки проса с еле заметным нежным пушком, казалось, росли на глазах — так напористо они стремились вверх, к солнцу. Подсолнечник завязал шляпки и уже начинал ревниво следить за солнцем: утром он смотрит на восток, а вечером — на запад, так и наблюдает целый день. И вообще это растение очень «дисциплинированное»: если уж шляпки повернулись на юг, то все до единой, будто неведомая сила скомандовала: «На солнце равняйсь!»

Филипп Иванович остановился. Он вздохнул глубоко и подумал: «Так вот и человек — к солнцу правды! К правде обязан стремиться человек. Правду надо не только любить, правдой надо жить, как растение живет солнцем».

Филипп Иванович проходил полями. Всем существом ощущал он присутствие могучей земли, черной земли, спокойно и тихо лежащей под прикрытием ею же рожденной зелени, которая станет потом хлебом. Земля! И дед, и отец, и мать приучили с детства произносить это слово с великим уважением. Филипп Иванович стал агрономом потому, что он просто не смог бы нигде жить и работать, кроме как на поле. Здесь он родился, здесь прошли его детские и юношеские годы, если не считать отлучку в институт, здесь он мечтал, здесь поставил целью своей жизни высокие урожаи и благополучие людей, работающих на этой земле. Здесь же он и понял, что при мощной технике не должно быть беспорядка на колхозной земле. Земля никогда не прощает плохого обращения с нею и всегда благодарна за любовь и ласку.

И вдруг ему стало не по себе оттого, что вот эти поля, в возделывание которых вложено много и его личного труда, будут снова искромсаны «по инструкции о введении севооборотов», снова начнется переход к «но-

вому» севообороту. И все это будет чуть ли не в десятый раз при его жизни. Земля не прощает. И он, агроном, не может простить того, что его, понявшего землю, на которой он родился, обвинили в том, что он по своему усмотрению и с согласия колхозников ввел короткий севооборот, вопреки «инструкции». Он всегда считал нелепостью положение, когда к лозунгу «Больше хлеба!» прибавлялось условие: только при таком-то севообороте, а не при каком-либо другом; при такой-то системе земледелия, а не при какой-либо другой. Он был убежден, что каждый колхоз, каждое поле в колхозе имеет свои особенности, отличные от других колхозов и других полей. Земля, насыщенная неисчислимым количеством бактерий, живет своей жизнью. Понять эти особенности — значит понять землю. И он старался понять. Но его-то не поняли, обвинили в анархизме, в нарушении указаний вышестоящих организаций и... освободили от работы.

Шел агроном по полям, но он не был агрономом этих полей. Земля уже не подчиняется ему. Чувство одиночества и оторванности закрадывалось ему в душу. Он на ходу гладил колосья ржи, прикасался к шершавым листьям подсолнечника, останавливался, подолгу смотрел вдаль и снова шел, но все тише и тише. Было грустно. Из своих дум он еще не сделал какого-то вывода. Что-то уже мерещилось ему, но он еще не додумал, не решил. Так иногда человек мучительно старается припомнить какую-то мысль, мелькнувшую однажды. Грусть заслонила строй мыслей, среди которых была какая-то важная. Филипп Иванович встряхнул головой и зашагал быстрее. И вдруг остановился, услышав звук трактора. Потом зашел прямо в рожь. Он вспомнил: этот сорт ржи выведен Герасимом Ильичом Масловским, а вот та пшеница — известным селекционером-женщиной. Оба селекционера — знакомые ему люди. Вот и

трактор звучит. Он тоже изобретен учеными. Тракторные плуги — тоже. А культиваторы, а комбайны? — уже спрашивал себя Филипп Иванович.

Так, постепенно, он перешел от мысли о себе к мысли о том, что в поле, везде, во всем, на каждом шагу, видно влияние сельскохозяйственной науки, настоящей науки, а не чернохаровской.

Оказывается, думал он, есть две науки: настоящая и ненастоящая. Масловский — настоящая наука, Чернохаров — ненастоящая, псевдонаука. А если ненастоящая, то как же она может хозяйничать на полях?

Эти мысли беспокоили Филиппа Ивановича. Поле наводило на размышления об агротехнике, о селекции, о будущем этого поля. И когда в мыслях он дошел до того, что он, Егоров, в лагере настоящей науки и что он тоже отвечает за будущее полей, он вспомнил слова Герасима Ильича: «Когда вы почувствуете себя обязанным, вы уже не можете не бороться». Именно эту мысль он и старался вспомнить! Чувство одиночества ушло.

Осталась только обида, что он уже не может иметь власти над полями, что у него отняли эту власть человека. А будет так: дадут ему гектаров десять-пятнадцать, разобьет он их на делянки и будет ставить опыты, настоящие опыты; но рядом расположит и опыты-фикции по тематике Карлюка. И ничего не поделаешь пока, иначе не будет средств и никто не даст столько земли в его распоряжение. Так и оправдывал Филипп Иванович поступление к Карлюку одним словом: необходимость.

В раздумье Филипп Иванович не заметил, как прошел весь путь и уже входил в село. Навстречу ему в гору поднималась подвода. Лошадь, опустив голову, тянула дроги с бочкой воды. На бочке, свесив ноги, сидел Пал Палыч Рюхин, водовоз тракторного отряда. Он что-то

мурлыкал себе под нос, помахивая кнутом, на который лошадь не обращала ни малейшего внимания. Не спешила лошадь, не спешил и ездовой.

Пал Палыч прослыл в колхозе не то чтобы лодырем, а весьма медлительным, спокойным человеком, которого ничто не тревожит. Считалось, что Пал Палычу совершенно безразлично, что делается в колхозе, как делается и зачем делается. Приедет, например, землеустроитель нарезать новый севооборот, а Пал Палыч скажет:

— Этот на год опоздал. Раньше через год путались, а этот два года пропустил. — И добавит: — Валяй, валяй! Кромсай с божьей помощью.

Больше по этому вопросу он уже ничего не скажет ни на бригадном собрании, ни на заседании правления, куда он, к слову сказать, иногда ходил, но упорно молчал. Если его побуждали высказать свое мнение на заседании или собрании, то он отвечал коротко: «Интересу нету».

Вот этот самый Пал Палыч и встретился Филиппу Ивановичу.

— Здорово, Пал Палыч! — приветствовал он.

— Тпр-ру! — остановил тот кобыленку. А уж потом ответил: — Здоров был!

— Везешь?

— Везу, — ответил Пал Палыч и стал доставать кисет с табаком, видимо располагаясь к длительной остановке.

— Можешь опоздать, — попробовал напомнить Филипп Иванович.

— На́! Закури-ка! — Пал Палыч подал кисет собеседнику, будто и не обратив внимания на предупреждение.

Отказать Пал Палычу не было никакой возможности. Филипп Иванович знал, что после отказа собеседник молча свернет кисет, медленно положит его в карман и

уедет, так же не спеша и помахивая кнутом, будто и никого не встретил и ни с кем не разговаривал. Конечно, Филипп Иванович взял кисет, свернул цигарку, прикурил и спросил:

— Как там дела-то?

— Где?

— В тракторном отряде.

— Здóрово. Дела идут — сеют.

— Что-о? — удивился Филипп Иванович.

— Сеют, говорю. Овес пополам с чечевикой.

— Да ты смеешься, Пал Палыч?

— Ничего не смеюсь, сеют. План «спустили». Занятой пар будто.

— Но ведь конец июня! — воскликнул Филипп Иванович. — Через месяц — сеять озимые. Когда же он освободится, занятый пар?

— А я почем знаю? Вчера — план. Дополнительно. Ноне сеют... Вот везу воду.

Филипп Иванович взволновался. Он не находил слов и только произнес:

— Черт возьми!

Пал Палыч предложил так же спокойно:

— Може, доехал бы туда? Землю-то мучают.

— Да что же я? Не послушают меня теперь.

— Вона-а! Это почему такое не послушают? Тебя послушают. Это вот меня не послушают. Скажут: «И Рюха туда же!» А Рюха видит, Рюха знает, что хорошо и что плохо. Только на него — ноль внимания. А душа болит. Хоть и нету интересу, а душа болит.

— Болит... — машинально повторил Филипп Иванович.

— То-то вот и оно. Ехать надо.

— Да видишь ли... Сняли же меня. Как мне теперь вмешиваться?

— Вишь ты, как оно! А ты не думай об этом. Напле-

вать. Если тебе зарплату не платят, то ты уж вроде и не имеешь права? Ты колхозник?

— Колхозник.

— И я колхозник. Я три года получал по шестьсот граммов на трудодень, а работал. А ты уж... сразу. Не-е! Не должон ты об этом думать. С меня спрос один, а с тебя — другой.

— Надо как можно скорее попасть в отряд, — заспешил Филипп Иванович. — Поехали! — И стал взбираться на бочку.

— Не. Со мной скоро не попадешь. Там, у кладовой, сейчас семена нагружают. Машина пойдет. Ты с ней махни. Подожди тут маленько и — махни. А?

— Пожалуй.

Оба помолчали. Пал Палыч медленно курил и о чем-то думал, глядя вниз с бочки. Потом сказал:

— Я к тебе спозаранку ходил. Хотел сказать про это самое. А тебя нету.

Филипп Иванович многое понял здесь, у бочки. Ему стало немножко стыдно за малодушие, прокравшееся в душу там, в поле, по пути домой.

— Спасибо, Пал Палыч! — сказал он, растирая ногой окурок.

— Это за что же спасибо? За то, что я хочу жить лучше? Я, Рюхин Пал Палыч? — И он ткнул себя пальцем в грудь. — Не понимаю. Вот если ты остановишь эту глупость, тебе будет спасибо. — Он помолчал и добавил: — А я не в силах.

— Ну поезжай, поезжай. Уже время.

Пал Палыч пошевелил вожжами. Кобыла покачалась, стронулась и повезла. А Пал Палыч, обернувшись, сказал с этакой ехидцей:

— Часам к одиннадцати доеду. А ты тем временем... — Он что-то пробурчал еще, улыбнулся в густые усы, почесал затылок, сдвинул картуз на глаза да так и

поехал с надвинутым картузом, будто затаив под козырьком выражение глаз и свои мысли.

Так Филипп Иванович и не дошел до дома.

Вскоре встретилась автомашина с семенами.

— В отряд? — спросил он у шофера.

— В отряд. Садись, Филипп Иванович. Поедем чудо-юдо смотреть: как сеют овес с чечевикой.

— Поедем, поедем! Поспешим давай.

По дороге шофер рассказал, как вчера до полуночи думали в правлении о дополнительном плане занятого пара, как председатель противился ему и как директор МТС обещал председателю «намылить голову» на бюро за саботаж дополнительного плана.

Подъехали к отряду. Филипп Иванович, поздоровавшись с трактористами, взошел на поле, вспаханное в эти дни под занятый пар. Глыбы земли, вывороченные плугом, лежали несуразными комьями, земля была настолько суха, что разборонить ее не было никакой возможности. Сеять в такую землю и в такой срок — бессмысленно и вредно. Филипп Иванович вернулся к будке и спросил у бригадира Боева:

— Вася! Чего ж вы стоите? Есть указание сеять.

— Да вот... жду воду. Должен скоро подвезти. И председатель обещал приехать. — Указав на глыбы, бригадир спросил: — Видите?

— Вижу. И что же, будешь сеять?

— А как же? Буду.

— А если я запрещу?

— То есть как это так «запрещу»? Вас же...

— Как рядовой колхозник запротестую и потребую созвать общее собрание. Как ты на это посмотришь?

Вася улыбнулся, повел могучими плечами и сказал:

— В Уставе сельхозартели такого пункта нет. А здорово было бы! — И сразу пошел напрямую, без обиняков: — Пишите на меня акт, Филипп Иванович. Дескать,

нарушает агротехнику, угробляет урожай. А я подпишу внизу личное мнение: дескать, по дополнительному, И — ни кот, ни кошка не виноваты.

— А если без акта, а просто так?

— Без акта невозможно — снимут меня. И будем мы с вами тогда ходить по полю вдвоем и грустные песенки распевать.

— Да я акт на тебя составить не могу. Не имею права.

— Вот задача так задача! — задумчиво произнес Вася и развел руками. Потом он сел в борозду, поковырял ключом ссохшийся ком земли и сказал, не обращаясь ни к кому: — Ну как тут сеять? Как в печке спеклась. — Потом он посмотрел на дорогу и уже совсем сердито заговорил о другом: — И что это за водовоз, черт возьми! То он за полчаса доставляет воду, а то и за пять часов не дождешься. Буду просить другого. Ну разве ж так можно! Два трактора на культивации черного пара работают, а два с сеялками здесь стоят, ждут воды. Хоть бы председатель ехал скорее. Не могу я с этим Пал Палычем работать. — И было что-то в Васе такое, что внушало к нему уважение. То ли могучая сила, выступающая буграми-бицепсами, то ли открытое голубоглазое лицо, то ли рассудительность, а может быть, все это вместе взятое. А между тем до тридцати лет он оставался для всех односельчан «Васей». Сейчас он злился на Пал Палыча не очень-то сильно. И заключил: — И обижать его нельзя — пожилой человек, и не поругать нельзя этого Пал Палыча — будет гнуть по-своему.

— Когда я шел в село, видел его. Едет, — сказал Филипп Иванович.

Оба замолчали. Молчали и смотрели на пашню. И не было им тягостно от этого молчания. Они знали, о чем думает каждый из них, и оба понимали друг друга. И еще раз Филипп Иванович упрекнул себя: «А я-то счи-

тал, что и Вася теперь меня не послушает». Он положил Васе руку на плечо и сказал просто:

— Не надо сеять, Вася.

— Не надо, — согласился тот. — А как сделать?

— Просто не сеять. И все. Поедем в правление к председателю: будем думать.

— Да, он же должен приехать сюда.

— Пока он вырвется из правления, а мы уж будем там. Вот с этой же машиной.

— Семена сложить или везти обратно? — спросил шофер.

— Пока... сложим,—неуверенно ответил Вася, посматривая на Филиппа Ивановича. — Ну-ка да кто из района нагрянет. А у нас — ни семян, ни воды. По крайности на Пал Палыча свалить можно... Ему как с гуся вода.

Семена сложили в бурт и поехали в село.

Километра за два от будки, в лощине, они увидели одиноко стоящие дроги с бочкой, а рядом с ними, на траве, Пал Палыча. По всей видимости, он спал, потому что перед лошадью лежала зеленая трава, чересседельник же был отпущен. Пал Палыч расположился, вероятно, основательно и надолго.

— Ну-ка остановись, — сказал Филипп Иванович шоферу.

— Черт возьми! Спи-ит! — зашипел Вася в негодовании.

— Тише. Я подойду. — Филипп Иванович предостерегающе поднял руку.

Он подошел к Пал Палычу. Тот лежал вверх лицом, прикрыв козырьком глаза. Но странное дело — один глаз, казалось, был полуоткрыт и смотрел на мир вообще и на Филиппа Ивановича в частности.

— Пал Палыч! — окликнул его Филипп Иванович.

— А? — отозвался тот, не пошевелившись.

— Что же это такое?

Пал Палыч приподнялся на локте и спросил:

— А что?

— Надо торопиться. Сеять занятого пара не будут Надо переключать все тракторы на культивацию черного пара. А ты спишь. И воды нет.

— Не будут сеять?! — бодро воскликнул Пал Палыч и сел.

— Не будут.

— Ах я, сукин сын! — еще раз воскликнул Пал Палыч. — Как же это я не догадался-то?

Он вскочил, подтянул чересседельник, поправил узду. И — удивительное дело! — лошадь подняла голову, запрядала ушами, ободрилась, будто ездовой что-то такое шепнул ей на ухо, и... побежала рысью.

— Впере-ед! — крикнул Пал Палыч, сдвинув картуз на затылок, и скрылся в облаке пыли, поднимаемой колесами.

Все трое смотрели ему вслед. И каждый реагировал по-своему. Филипп Иванович улыбнулся и сказал:

— Ну и саботажник!

А Вася — свое:

— Обижать нельзя — пожилой человек — и не поругать невозможно.

— И прозвище-то ему Рюха, — добавил шофер.

Но Филипп Иванович знал, что за странностями и медлительностью Пал Палыча тщательно скрывается человек, не понятый многими; до поры до времени спрятал он свой взгляд под козырьком, будто и в самом деле ему «интересу нету».

Председатель колхоза Николай Петрович Галкин встретил агронома и бригадира одним словом:

— Понимаю. — И добавил: — Опять снюхались.

— Опять, — подтвердил Вася и улыбнулся одними глазами.

— Вот что я тебе скажу, Филипп Иванович, плохо мне без тебя, — ни с того ни с сего сказал Николай Петрович.

— А я вот он, тут.

— Тут, да не тот, — вздохнул председатель.

— Хоть и шляпа иная, да голова своя. — И Филипп Иванович после этих слов положил на стол удостоверение о заведовании опорным пунктом в колхозе.

— Так, так, так, — приговаривал Николай Петрович, читая удостоверение. — Вроде бы наукой будешь заниматься. Так, так. А что же это означает, это самое Межоблкормлошбюро?

— По кормовым культурам.

— Ага, по кормовым. Тогда вот что — ученые берут, я слыхал, шефство над колхозами, а ты берешь шефство над своим колхозом и берешь в руки всю агрономию. Идет?

— Идет, — ответил Филипп Иванович.

Они пожали друг другу руки. Николай Петрович вдруг рассмеялся, хлопнув себя по лысеющей голове.

— Одна беда с кудрявой головы долой! — Но так же неожиданно помрачнел. Опустился на стул и задумался. — Каблучков будет возражать против тебя... А тут еще и этот «дополнительный» план, будь он неладен!

— Ну как же, — спросил Вася, — будем сеять или нет?

— Подумать надо, — сказал Николай Петрович.

— А я придумал! — воскликнул Филипп Иванович.

— Что придумал? — спросил председатель.

— Напишем профессору Масловскому. Вызовем сюда. Приедет.

— Не поедет твой профессор сюда.

— Приедет, — заверил Филипп Иванович.

— Не верю, — скептически утверждал Николай Петрович. — Чтобы профессор — в колхоз! Не может того быть. Шефство-то они, говорят, берут, да только сами-

то не едут, а своих сподручных посылают — ассистентов или как их там... Да еще — по вызову! Что ему до нашего колхоза, до нашей свистопляски с этими «дополнительными»? Не поедет.

— Ну давайте попробуем, — настаивал Филипп Иванович.

— Почему не попробовать? Попробовать можно. Но... Не верю. Попробуй, что ж. Попробуй, беспокойная душа.

Письмо профессору Масловскому отправили в тот же день — опустили прямо в поезд на станции. Только после этого Филипп Иванович вспомнил, что он еще не заходил домой, что его ждут, что он голоден как волк. Он забежал домой, наскоро пообедал. Мать Филиппа Ивановича, Клавдия Алексеевна, сидела на лавке против сына и упрекала, пока тот обедал:

— Ты хоть ешь-то не спеша. И все он торопится, и все ему недосуг. Уже сорок тебе, а ты все... такой же, Филя. Такой же. — И сокрушенно качала головой. Но в старческих морщинах над губами и в лучиках морщин около глаз играла еле заметная лукавая улыбка.

— Такой же, мама, такой же. Еще одну тарелку супу съем — все такой же.

Жена, Люба, заведовала молочной фермой, дома ее не было. Сынишка, Колька, был в школе. Так до вечера Филипп Иванович и не увидел своей семьи.

— Ну, я пошел, мама. Допоздна не буду шататься, рано приду.

И уехал с Николаем Петровичем на его «Москвиче» по полям.

Николай Петрович работал председателем колхоза всего только два года. Он успел понять колхозников, наладил дело с дисциплиной, но в сельском хозяйстве, в тонкостях агротехники не очень-то разбирался. Раньше был на руководящей работе, даже заместителем предсе-

дателя райисполкома, но в чем-то провинился. А в те годы на должность председателя колхоза частенько посылали за провинность. Председателей колхоза просто назначали. Было тогда ходячее выражение: «Дать команду председателям колхозов». Товарищ Каблучков, второй секретарь райкома, в течение полугода замещал первого секретаря и настолько увлекся «командой», что, говорят, так и сказал своей жене:

— Я лично дал команду — обед в три часа, а у тебя в полчетвертого не собрано. Не имею времени. — И ушел не обедавши.

Николай Петрович попал в председатели не по собственному желанию, но, к своей радости, полюбил эту работу, увлекся перспективами, которые развивал Филипп Иванович. Они подружились. Когда Филиппа Ивановича освободили от работы, Николай Петрович узнал об этом вместе с ним. Они оба развели руками и поехали сразу же к Каблучкову. Тот сидел в кабинете первого секретаря и писал. Не поднимая головы, он сказал:

— Садитесь. — Потом, через некоторое время, поднял взор, пристально посмотрел прищуренными глазами на вошедших, сморщил лоб. — По какому вопросу?

— Сам знаешь, — ответил Николай Петрович.

— Вы о Егорове? — И тут же ответил: — Этот вопрос мы ставили уже на бюро.

— Но Егоров — член партии, — возразил Николай Петрович. — А вы миновали первичную партийную организацию. Это нарушение...

— Прошу, товарищ Галкин, не брать на себя защиту виновного.

— Да в чем он виноват-то? — негодовал Николай Петрович.

— Еще повторяю: я лично дал команду о сроках сева, а Егоров — по-своему; я лично дал команду о глубокой пахоте, а Егоров — по-своему; сверху спущена команда

о десяти- и двенадцатипольных севооборотах, а Егоров — по-своему. Анархия! Надо было наказать. И все!

Филипп Иванович глядел на Каблучкова и поражался: какой случай помог этому человеку попасть на такую важную работу? Тут чья-то ошибка. Конечно, с приездом первого секретаря все должно пойти по-иному. Но что делать сейчас?

Каблучков, обращаясь к Николаю Петровичу, заключил:

— Надо бы и с тебя, Галкин, снять стружку, но решил пока воздержаться. Посмотрим дальше.

— Меня твой рубанок не возьмет, Каблучков.

— Шерхебелем дернем. Все!

Разговаривать дальше не было смысла. Агроном и председатель встали, вздохнули и вышли.

Теперь они ехали вместе в «Москвиче» и вспоминали этот эпизод.

— А что же ты сделал бы? — рассуждал Николай Петрович. — Видно, потерпи до нового первого. Думаю, не продержится этот долго. Хорошо, брат, что ты устроился в это самое — как его? — в «Облкормложку». Ставь опыты, пожалуйста, сколько влезет, а колхозные поля — за тобой.

— Эге, я вижу: «налицо недооценка» значения опытной работы. А опыты — дело серьезное. Вот слушай! — заговорил Филипп Иванович. — Первым делом докажу, как уничтожить сорняки химическим методом. Второе — надо опытным путем установить глубину вспашки для каждого поля в отдельности. Третье — очистить почву от вредителей. Четвертое — поймы продолжать осушать, чтобы кормов было невпроворот. Есть еще и пятое, и шестое, и седьмое... И все это надо так сделать, чтобы доказать. Понимаешь — до-ка-зать! Чтобы не один только наш колхоз понял, а все колхозы района.

— Что?

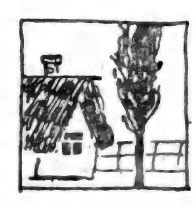
— Все колхозы района, — повторил Филипп Иванович.

— Ишь, загнул! Ну, валяй, валяй. Все, что от меня надо, — не постою. Помогу. Только знаешь... Как бы это тебе сказать?.. — Галкин нагнулся к Филиппу Ивановичу и шепнул на ухо: — Ты меня-то подучай маленько по агротехнике-то. Не больно я горазд.

— Вместе будем учиться... у земли.

Дружба между председателем и агрономом укрепилась и росла, несмотря на различие характеров: один— спокойный и степенный, другой — горячий, беспокойный.

Но никто из них и не подозревал, что беда стоит за плечами.



ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

СВЕЖИЙ ВЕТЕР

Через четыре дня Филипп Иванович и Николай Петрович встречали на станции профессора Масловского.

У Филиппа Ивановича был приготовлен для гостя завтрак. Предполагалось хорошо угостить профессора, а потом уж приступать к делам. Но Герасим Ильич останавливал автомобиль у каждого поля, выходил, смотрел и расспрашивал так, будто не он должен учить агронома и председателя, а сам приехал у них учиться. Видно было, что он заметил многолетние заботы Филиппа Ивановича в поле и то, что колхоз идет на подъем, — лето обещает хороший трудодень. Сразу же завернули и на злополучный участок, предназначенный под занятый пар. Вот тут-то Герасим Ильич и вспылил.

— И вы допустили, товарищ председатель! — воскликнул он. — Это же издевательство над землей. — И добавил совсем не по-научному: — Кроме того, если посеять здесь сейчас, это значит — выбросить семена коту под хвост.

Николаю Петровичу после такой речи стало легче. «Черт их знает, как с этими профессорами обращаться», — думал он несколько часов тому назад. А теперь как-то сразу все стало на место. Он и согласился и возразил так:

— Издевательство — точно. Коту под хвост — исключительно точно. А вот насчет «допустили» — не согласен. Попробуйте-ка возразить нашему Каблучкову. Куда там!

— А я буду возражать. Попробую. И не думаю, что вы правы. Возражайте, протестуйте, пишите, жалуйтесь. Иначе вы не коммунисты, — наступал Герасим Ильич.

— Вы не понимаете сути, — возразил Николай Петрович, согласно своему характеру, совершенно спокойно. — Дело-то в чем? Да в том, что Каблучков временно замещает первого секретаря. Ну и... заместил так, что закрыл собою от нас весь белый свет. Любое возражение он считает посягательством на авторитет.

— Жалуйтесь! — настаивал Герасим Ильич. — Что вы, маленькие дети, в самом-то деле?

— Попробуем дождаться первого. Новый будет. А старому не вернуться, заел его туберкулез. И к тому же — ну, напишем мы о том, что мы не желаем выполнять дополнительный план по состоянию погоды. Что из этого? Кому за это будет? Никому. План планом. А с меня и с Филиппа Ивановича будут «снимать стружку». Ведь жалобу-то не разберут за три дня? Нет. А сеять все равно заставят, пока жалоба будет ходить месяца два по разным инстанциям.

— Это как — «снимать стружку»? — спросил Герасим

Ильич уже более примирительно, чем и дал понять, что он почти согласен с доводами.

Филипп Иванович улыбнулся и не стал отвечать на вопрос профессора, кивнув на Николая Петровича. А тот вполне серьезно сказал вместо ответа:

— Знаете что — хотел бы я, чтобы вы лично посетили самого Каблучкова и высказали ему все вот так, как нам. Может быть, и поймете «стружку».

— Обязательно поеду, — согласился Герасим Ильич.

С поля ехали молча. Всеми овладело самое обычное человеческое состояние, при котором любая идея тускнеет: хотелось есть.

К одиннадцати часам дня они подъехали к дому Филиппа Ивановича. Николай Петрович, выходя из «Москвича», сказал:

— Ну вот теперь и я знаю, что такое ученый. Думалось, как с ним говорить? А ну-ка да он скажет ученые слова, каких не знаешь? Выходит — все не так уж сложно.

Герасим Ильич улыбнулся. Филипп Иванович пригласил всех в дом. А Николай Петрович продолжал тем же ровным и спокойным голосом:

— А дозвольте спросить: водку пить будете?

— Водку?! — ужаснулся Герасим Ильич, но сразу же изменил выражение лица на благожелательное. — Буду!

Николай Петрович рассмеялся.

— У нас поговорка такая есть: «Если гостя встречать без вина, то хозяин — сам сатана».

За завтраком, после того как утолили первый голод, зашел разговор об опытном участке. Начал Филипп Иванович:

— Вот вы, Герасим Ильич, рекомендовали взять отстающий колхоз. Помните?

— Помню. И убежден в этом.

— А Николай Петрович категорически предложил оставаться здесь, то есть в «среднем» колхозе.

— Никуда я его не пущу. Пусть тут и ставит опыты, — подтвердил Николай Петрович.

Герасим Ильич возразил:

— Вы, видимо, исходите из своих личных соображений. А надо думать об общем, не только о своем колхозе.

— Нет, не из личных. Мне Филипп Иванович уже говорил о вашей точке зрения: «не изучаем опыт отстающих», «нельзя лечить болезнь, не зная ее», и тому подобное. А я возражаю.

— Но ведь это же неопровержимые доводы.

— А кто знает, может, и опровержимые.

— Интересно, — оживился Герасим Ильич, — очень интересно.

Поставив вилку острием вверх, Николай Петрович возражал:

— Если следовать этому вашему доводу, то надо обязательно посеять овес с чечевицей в конце июня, по глыбистой пахоте.

— Не понимаю! — удивился Герасим Ильич.

— Ну что ж тут не понимать! Засеять занятый пар в конце июня, а в октябре — ноябре посеять озимые, чтобы их не было совсем. Это и будет «изучение» отстающей агротехники, то есть изучение того, как не надо делать. Я не горазд в агротехнике, но думаю — этого не следует делать.

— Позвольте, Николай Петрович! Я имею в виду и организацию труда, и вообще организационные вопросы, и работу с людьми в отстающих колхозах.

— И все равно. Лучше изучать, как сделать хорошо, чем изучать, как не надо делать плохо.

Герасим Ильич ответил не сразу.

— Тут надо подумать... Пока тебе никто не возра-

жает — считаешь, что ты прав... А вот сейчас вы, кажется... правы. У вас — логика.

— Я, Герасим Ильич, не понимаю ее, эту логику. А так — «по личному соображению». Все-таки жизнь прожил, шестой десяток пополам перерубил.

Герасим Ильич легонько хлопнул Николая Петровича по плечу.

— А ведь мы вроде ровесники! Знаете что, Николай Петрович, вы меня немножко подучайте.

— А вы меня.

— Идет!

— По рукам?

— По рукам.

Филипп Иванович был очень доволен, что скептическое отношение Николая Петровича к профессору рассеялось как дым. И он уже уверенно спросил:

— Значит, вы не возражаете против того, чтобы я остался здесь, в своем колхозе?

— Побежден, — ответил Герасим Ильич. — «Личным соображением» побежден. Впрочем, ведь это был только мой совет. А от меня совершенно не зависит, где вам основать опорный пункт.

— На это есть «Облкормложка», — ехидно вставил Николай Петрович.

— А советоваться будем все-таки с вами. Вы только сейчас заключили условие с Николаем Петровичем.

— Ладно, ладно. Уж раз «попался» — ничего не поделаешь.

— Не будем спорить, дорогие товарищи. О том человеке, который взялся за гуж, пословица уже есть, и ее нечего выдумывать, — заключил Николай Петрович.

После завтрака Филипп Иванович и Николай Петрович ушли в правление, а Герасима Ильича уговорили отдохнуть.

В горенке приготовили постель. Клавдия Алексеевна,

до сих пор произносившая только слова, относящиеся к угощению, пригласила гостя:

— Отдохните с дороги, Герасим Ильич. — Она вошла с ним в горенку, пододвинула стул для одежды и сказала: — Филя про вас много говорил. Мы тоже хотели вас видеть. Только не обессудьте. Может, что и не так.

— Что вы, что вы, Клавдия Алексеевна! Мы с Филиппом Ивановичем друзья, хотя он и мой ученик и я на пятнадцать лет старше его.

— Он ведь у меня один остался-то, — вздохнула Клавдия Алексеевна. — Трое было. Двух-то убили на войне. И сам пропал там же.

Герасим Ильич впервые услышал это.

— И сам! — вырвалось у него.

— Да Иван-то мой — отец Фили. — Она стояла перед профессором, высокая, сухая, на первый взгляд чуть суровая старуха. Но что-то крепкое и сильное было в ее глазах. Такое, будто она готова всегда встретить горе и выстоять.

— Простите, Клавдия Алексеевна! Вам трудно об этом вспоминать. Не надо.

— Конечно. Все пережито... И не у нас у одних. Война. — Слез у нее не было, только морщины на лице стали как-то гуще и отчетливее.

Герасим Ильич невольно обратил внимание: против обычного, на стенах нет портретов ни ее сыновей, ни мужа. И она по взгляду, скользнувшему по стенам, догадалась и сказала:

— Нету патретов-то. Нету. В сундуке держу. Иной раз взгрустнется — выну, посмотрю... А письмо почитаю — не плачу, а утешаюсь. Человек был мой Иван-то!

— Письма от него сохранились? — осторожно спросил Герасим Ильич.

— Не-ет. От него так и не получили ни одного письма с фронта. От его товарища письмо, из плена. В плену

он погиб, Иван-то... Да вы ложитесь, ложитесь в добрый час, отдохните. Поди, устали? Ложитесь. — И она вышла.

Герасим Ильич лег, но уснул не сразу. Он лежал с закрытыми глазами и думал.

Через час он встал, освежился холодной водой и пошел в правление. Там, в кабинете председателя, сидели Филипп Иванович и Николай Петрович и на чертеже намечали места опытных участков. Решили так: основной участок, Карлюка, выделить в одном месте, а настоящие, свои,— в каждом поле. Они изложили свои соображения Герасиму Ильичу, и тот предложил сначала осмотреть участки на месте. Все с этим согласились. Но Николай Петрович внес новое предложение о порядке работы на этот день:

— Если сегодня не поговорить с Каблучковым, то, значит, нам влетит обязательно. Завтра бюро.

Все втроем поехали в район, предварительно позвонив о том, что едет профессор. Каблучков встретил Герасима Ильича учтиво: он встал из-за письменного стола, поправил пояс, затушил папиросу в пепельнице и только тогда уже приветствовал:

— Прошу! — Подал руку и произнес: — Секретарь Каблучков.

— Масловский.

Каблучков небрежно сунул руку и остальным двум, вошедшим с профессором (обычно он посетителям руки не подавал).

— Чем могу быть полезным? — спросил Каблучков Масловского.

— А мне казалось, что я мог бы быть чем-либо полезным для вас.

— О! У нас много недостатков.

Герасим Ильич спросил:

— Какие же недостатки вы считаете наиболее серьезными?

— У нас есть еще безобразия. Вот, например, они, — Каблучков указал на Филиппа Ивановича и Николая Петровича, — плохо ведут обработку почвы. Факт! Мы еще недостаточно ведем борьбу за лесные полосы — уход плохой, посадки выполнены не на сто процентов. И так далее. И вот остался один я — все на одних плечах. — При этом он похлопал себя по плечу, указывая таким образом, на каких плечах лежит все. — А они вот — палки в колеса.

Герасим Ильич попробовал вставить:

— Что касается посева овса в конце июня в занятом пару, то я с ними согласен — сеять нельзя.

Каблучков в удивлении развел руками, говоря:

— А как же?

— Сеять нельзя. Я утверждаю это со всей ответственностью.

— А облзу план спустило дополнительно. Что я должен делать? — возразил Каблучков.

— Объяснить, что сеять нельзя, что план надо было давать вовремя, ранней весной, а лучше — зимой, что колхозы не могут расплачиваться за чью-то недогадливость. Все просто. Вы согласны?

— Согласен на сто процентов. Но только я партбилет на стол не положу. Обязан выполнить. А ваше мнение, простите, будет нам дальнейшим тормозом.

— Знаешь что, Каблучков, — заговорил Николай Петрович, — никто с тебя за это не спросит партбилета. Что, у тебя бюро нет, что ли? Партактива, что ли, нет? Не с кем посоветоваться? Собери и вынеси коллективное решение. И твой билет будет цел, и у нас гора с плеч, у всех председателей.

Каблучков возмущенно обратился к Масловскому:

— Вот! Вот так с ними и поработай. Из области есть указание, а я собирай собрания, обсуждай, обсасывай,

У меня и для бюро и для партактива есть план. Придет срок — пожалуйста! А сейчас, будь ласков, не тормози телегу.

— Тормозить телегу, — машинально повторил Герасим Ильич. — Это сказано здорово — «тормозить телегу».

Каблучков улыбнулся: дескать, действительно здорово.

— Товарищ Каблучков! — вмешался наконец и Филипп Иванович. — Если профессор говорит с полной ответственностью, то ведь можно же понять...

Но тот перебил:

— Только ты и понимаешь. А мы не понимаем. Нельзя допустить анархию. Да и вообще с тобой будет отдельный разговор. — И многозначительно добавил: — Особый разговор.

Герасим Ильич поочередно посмотрел на каждого из собеседников и задал вопрос Каблучкову:

— А нельзя ли мне начальника облзу к телефону?

— Почему нельзя? Можно. — Каблучков взял трубку. — Центральная?.. Срочно начальника облзу. Без задержки! Профессор будет говорить.

— Василий Аркадьевич! — закричал в трубку Масловский. — Дело-то какое! Овес с чечевицей — на носу у июля! Смех!.. А? Какой такой дополнительный? Кто придумал? Кто-о? Чернохаров? Мое мнение? Мое мнение: отменить надо немедленно... А? Неужели ни одного сигнала?.. Сегодня был на поле, видел — издевательство над землей. Местные работники протестуют... А? Хорошо. Телеграфирую сегодня же в обком. Будьте здоровы!

— Ну что? — спросил Филипп Иванович.

— В общем так: спасибо вам, Филипп Иванович! Если бы вовремя не дали мне знать, то... Впрочем, еще не все кончено.

— Пока не будет распоряжения, я лично сеять буду, — заключил Каблучков.

Все опешили. Герасим Ильич развел руками.

— Добейтесь распоряжения — дело другое, — настаивал Каблучков.

— А сами-то вы почему не добиваетесь отмены головотяпства?

— Как? — опешил теперь Каблучков.

— Головотяпства, — повторил Масловский.

— Ну и ну! — произнес Каблучков.— Да вы понимаете, что такое дисциплина? Позвольте спросить, вы член партии?

— Да.

Каблучков выразил всем своим существом полное удивление. После этого он умолк, о чем-то задумался, посматривая то на Филиппа Ивановича, то на Николая Петровича.

«Нельзя обижаться на человека, попавшего не на свое место», — думал Герасим Ильич. Достав из кармана записную книжку, что-то записал, а потом сказал:

— Будьте здоровы!

Каблучков проводил глазами посетителей. Когда дверь, обшитая клеенкой, закрылась, он подошел к окну и сердито произнес:

— И на ученого-то не похож.

Усевшись снова за стол, Каблучков достал из ящика письменного стола «дело». На папке было написано: «Егоров Филипп Иванович». Раскрыл папку и углубился в чтение: на Егорова поступило одно заявление и запросы от двух организаций. Читал Каблучков и думал: «Он, он, Егоров, всему вина. Анархист... Он и профессора притащил в район. А оно вон что! Во какая птица этот Егоров!»

Заявление, которое читал Каблучков, уже знакомо чи-

тателю — то было творение Карлюка, а запросы от двух организаций состояли в просьбе дать характеристику Егорова по тем же пунктам, что и в заявлении.

Каблучков сам созвонился с Карлюком, просил его и Подсушку выслать «углубление подробностей». К вечеру уже была готова характеристика на Егорова в ответ на запросы — такие дела у Каблучкова делались без волокиты.

В характеристике значилось: «Егоров Филипп Иванович — снят с работы как противник травопольной системы земледелия и анархист в агротехнике...», «Он пропагандирует зарубежный образ жизни...», «Он, Егоров, говорит не о высоком уровне развития нашей науки, а о том, что система сельскохозяйственного образования порочная», «Отец Егорова, Егоров Иван Иванович, был в плену у немцев, откуда и не вернулся...» И так далее.

Никто из троих друзей и не подозревал о нависшей беде. Через два-три дня пришло распоряжение об отмене дополнительного плана. Опытные участки были намечены. Филипп Иванович приготовился закладывать опыты с озимыми. Казалось, все шло хорошо.

Герасим Ильич исколесил все поля колхоза «Правда», несколько дней побыл в других колхозах и, возвращаясь поздно вечером, переписывал в общую тетрадь свои заметки из записной книжки.

В последние дни перед отъездом он стал молчаливым, задумчивым. Ночью вставал, тихонько выходил и медленно шагал по дорожке садика, заложив руки за спину. Село спало спокойным трудовым сном. Соломенные крыши были настолько высоки и громоздки по сравнению со стенами хат, что ночью казалось, будто все село построено из соломы. Лишь кое-где луна бросала блики на железные крыши. По этим отсветам можно точно определить, где находится школа, где правление, а

где клуб. Солома и глина. Глина и солома. Да редкие, одинокие деревца, оставшиеся от садов. Около одной из хат гигантский тополь темным силуэтом одиноко вытянулся в небо. Громадный тополь! Герасим Ильич вообразил — стоит этот тополь и шепчет: если бы у каждой хаты только по одному такому, как я, то какая бы уже была красота!

Герасим Ильич пошел к этому тополю. Он не мог не пойти. Уже третью ночь тянул к себе тополь. Подошел и удивился: тополь чуть-чуть шептал листьями, одинокий, гордый, стройный, ожидающий, чтобы люди его поняли.

На околице тихо заиграла гармошка. Видимо, гармонист возвращался домой. Ветерок чуть-чуть ласкал деревню. А тополь все шептал и шептал.

Утром следующего дня профессор Масловский собрался уезжать. Втроем они последний раз поехали в поле. Николай Петрович внимательно вслушивался в указания Герасима Ильича, иногда записывал на память, а Филипп Иванович, слушая, думал. На кургане, с которого были видны почти все поля колхоза, они присели. Герасим Ильич пошутил:

— По старому обычаю присядем перед отъездом.

— Неплохой обычай, — серьезно сказал Николай Петрович. — Человек должен за те минуты успокоиться от суеты сборов, подумать, не торопиться.

Филипп Иванович сел молча. Ему жаль было расставаться с учителем.

— Во-он, видите — тополь? — спросил Герасим Ильич.

— Видим, — ответили оба.

— Сколько в селе хат?

— Триста десять, — ответил Филипп Иванович.

— Если бы было триста десять таких деревьев? Или шестьсот? А?

— Здорово было бы, — сказал спокойно Николай Петрович.

— Вы-то здесь второй год,— обратился Герасим Ильич к Николаю Петровичу, — а вот Филипп Иванович агрономствует здесь восемь лет. Так что же вы, черт возьми! Вы понимаете, о чем я?.. — И эта фраза звучала как обвинение.

— Убедительно, — согласился Николай Петрович.

А Филипп Иванович молчал. Поэтому Герасим Ильич спросил только у него одного:

— Как вы думаете?

— Я думаю, что сначала надо сделать так, чтобы колхозник мог думать и о красоте. — Герасим Ильич встал, а Филипп Иванович продолжал, глядя в даль поля: — Я думаю, что... — Он неожиданно махнул рукой, не закончив.

— Что вы думаете, дорогой? Что думаете? Давайте выкладывайте! — требовал Герасим Ильич.

— Думаю, что обвинять народ в отсутствии чувства красоты могут только люди... плохо знающие народ... — Он тоже встал. Свойственная ему быстрота смены чувств сказалась и здесь: он заговорил уже быстро и громко: — Плохо знающие народ, который веками жил в рабстве; народ, революцией освободившийся от рабства и отстоявший свои завоевания в тяжелых войнах. Этот народ ждет улучшения жизни! Я агроном, я на особом положении, получаю зарплату, имею льготы, поэтому и сохранил свой садик. Другие же действуют по простому правилу: или дерево, или двадцать кустов картошки.

Филипп Иванович умолк, с волнением глядя на Герасима Ильича. Поймет ли? Не обидится ли? Или, может быть, молча уйдет, не выдержав обвинения в незнании народа?

А Герасим Ильич смотрел на село. Ветер шевелил

его седые волосы. Не отрывая взгляда от села, он неожиданно спросил:

— Почему вы никогда не говорили мне о том, что два ваших брата и отец погибли?

— Не знаю почему, — ответил Филипп Иванович.

— А я знаю. Потому что вы еще не считаете меня настолько близким, чтобы высказать без горячности хотя бы те мысли, которые вы высказали сейчас.

— Нет, это не так.

— Так. Подумайте наедине, взвесьте... — Он помолчал. — Да, я городской человек, я меньше вас знаю народ и еще меньше, чем Николай Петрович, но то, что я увидел, — и не только у вас, заметьте! — заставляет меня возражать вам.

— А что ж, — заметил Николай Петрович, — разговор интересный. — И разлегся на траве.

— То есть я согласен с тем, что вы высказали, — продолжал Герасим Ильич. — Но мне кажется, что вы все уводите в одну сторону. Вот у меня записано, сколько учителей, агрономов, трактористов, инженеров вышло из вашего села. Поразительно! Народ создал свою собственную интеллигенцию. У вас есть десятилетка. Но... один тополь. Понимаете? Один только тополь. Это же абсурд! Два дерева перед домом на улице, а не на усадьбе — и село изменится. Вокруг школы — сад: это уже красиво! То есть я хочу сказать, что одновременно с требованием улучшения материальной жизни, одновременно с повышением культуры полей надо учить народ жить культурно. Если этому помешала война и мешают ошибки, то это не может продолжаться долго. Будет лучше. Скоро будет. Верю! Дорогой мой! Коммунист обязан верить. Ведь так?

Но Филипп Иванович не успел ответить — помешал Николай Петрович.

— А я так скажу, — вставил он, ковыряя соломинкой в зубах. — Вы здорово поклевали друг друга. Ой, здорово! Культурно поклевали. А все-таки вы оба правы. Вам осталось только понять друг друга. А в чем соль? Да в том, что прошляпили мы, Филипп Иванович. Ты тоже виноват. Я тоже. Грязь же кругом невылазная. Вот и надо — и хлеба дать и денег... И тело мыть... и душу.

— Закончим мы вот на чем, — весело сказал Герасим Ильич. — Насчет агротехники договорились, насчет опытов договорились, а насчет деревьев — условие: в этом году посадить по два дерева перед каждой хатой. А там посмотрим. Я вам! — И он погрозил пальцем.

— «Команда дадена», — провозгласил Николай Петрович.

— Вы не обиделись? — спросил Филипп Иванович у Герасима Ильича.

— А что ж: я ведь и действительно не так уж хорошо знаю народ. Я не стыжусь учиться у людей. Вот только резковато маленько. Ну да ничего! А сам-то принял на себя вину?

— Принял. «Прошляпили».

У вагона на станции Герасим Ильич сказал им обоим:

— Итак, друзья, буду у вас частым гостем. Не прогоните?

— Это как будет называться — шефство? — спросил Николай Петрович.

— Никак это не будет называться! Я просто полюбил и вас, Николай Петрович, и село, и людей.

— Ну, в добрый час!

По дороге со станции Николай Петрович говорил:

— Ну, брат, и профессор!

— Доктор наук, не шутка!

— Э, да не в этом дело! Доктор, доктор! Ум, а не доктор. Дураку хоть всю башку науками набей до отказа, все равно ветром выдует. А тут — ум... Ничего не скажешь — человек!

— Человек, — повторил Филипп Иванович в задумчивости.

— А главное-то в чем? Да в том, что он всей своей душой чувствует ответственность. А кто, спрашивается, возлагал на него эту ответственность? Никто. Только собственное сердце.

— Да. Собственное сердце и вера в будущее.

— Приехал он — и свежий ветер принес с собой, — заключил Николай Петрович.

Как бы там ни говорили они, а Филиппу Ивановичу было не по себе. Жаль было отпускать Герасима Ильича. И что-то еще тяготило его. Что именно — догадался не сразу. Наконец всплыла в памяти угроза Каблучкова: «С тобой разговор будет особый». Филипп Иванович напомнил об этом Николаю Петровичу. Но тот посоветовал односложно:

— Плюнь.

Всегда Николай Петрович сумел находить короткие и мудрые решения жизненных вопросов, а тут ошибся, хотя и ободрил Филиппа Ивановича. Забыл он, что Каблучков — человек-ошибка, совсем не относящаяся к категориям тех, на которых мы учимся.

...А Герасим Ильич все смотрел и смотрел из окна вагона на пробегающие поля, на села и соломенные деревни. Он смотрел и думал. Думы его были беспокойными.

А в поле тянул свежий ветер, по пшенице ходили волны.



ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

КАБЛУЧКОВ В ДЕЙСТВИИ

Через несколько дней события развернулись неожиданно.

С утра Каблучков сидел в кабинете один. Он любил сидеть один, в полном убеждении, что он, Каблучков, — единственное лицо, думающее за весь район, за всех людей. Он ожидал, что его утвердят первым, был в этом уверен. У него не было даже подобия мысли, что он сидит не на своем месте. Более того, ему казалось, что почти все коммунисты района сидят не на своих местах, что надо их перестанавливать, перемещать, держать в строгости и подчинении. Это он, рассматривая «личные дела» коммунистов, придумал такие определения: «Ого! Уже два года на одном месте. Оброс. Заплесневел. Встряхнуть на другое место»; или: «Ого! Этот сросся с массами и идет у них на поводу. Переместить!»; или: «Кого рекомендуют! Ни в номенклатуре не значится, ни наград не имеет. Отказать!» К Егорову все это не подходило. Значит, Егорова надо исключать.

Все материалы для этого мероприятия он подготовил. В одиннадцать часов вечера назначено бюро. Вызван Егоров. Вызван и Галкин, как член бюро. Он сильно беспокоил Каблучкова: «Подведет, будет против».

Каблучков знал метод, который считал безошибочным. Это «метод предварительного опроса».

— Ты врага народа поддерживать не будешь? — спрашивал он у вызванного члена бюро.

— Не буду. А что?

— Ознакомься с «делом». И пойми, кто у нас сидит за пазухой.

Член бюро читал, знакомился и думал: «Три характеристики. Все доказано».

Но один из членов бюро, старый рабочий маленького ремонтного заводика, Морковин, повел себя иначе.

— Врага поддерживать будешь? — спросил Каблучков.

— Какого? — спросил и Морковин, по-нижегородски окая.

— Ну во-от тебе! Какого... Егорова!

— Егорова? Давно он перекинулся к врагам? — так же спокойно, поглаживая усы, продолжал спрашивать член бюро.

— На! Читай. — И Каблучков сунул Морковину «дело».

— Не шибко я читаю, долго буду читать.

— Сядь вон в уголке и читай, — посоветовал Каблучков, приняв слова собеседника за чистую монету.

Морковин и правда уселся в углу и стал листать «дело», предварительно свернув козью ножку.

Прошло полчаса. Морковин листал. Каблучков сидел в ожидании. Прошел час — позиция Морковина осталась прежней: сидел, молчал, шевелил листы «дела». Наконец Каблучков не выдержал, подошел и спросил:

— Ну как?

— Все правильно, — ответил Морковин, не поднимая головы, и продолжал смотреть в листы. Он даже рассматривал и оборотные, чистые, стороны: казалось, он не читал, а нюхал бумагу.

— Значит, как же? — настаивал Каблучков, уже раздражаясь.

— Все правильно, секретарь. Сочинено здоро-

во.— Морковин наконец закрыл «дело» и подал Каблучкову.

— Значит, ты — за исключение? Голосуешь?

— Недельку бы подумать, — с деланой неуверенностью сказал Морковин. — Егорова-отца я знал, хороший человек. Филиппа тоже знаю. А вот видишь — враг. Как это так?

Каблучков забегал по кабинету.

— Так, так! — воскликнул он.— Значит, сомневаешься? На дорожку Галкина вышел? Потакать противникам партии собираешься? Ну что ж, подумай. И я подумаю.

— А правда, Каблучков, подумай-ка.

— Подумаю. И ты подумай.

— Подумаю. Подумаю. — Морковин встал, надел фуражку, повторил: — Подумаю, — и вышел из кабинета.

Каблучков открыл форточку, чтобы проветрить кабинет от махорки Морковина, увидел в окно его сутулую спину, медленно удаляющуюся в переулок, и сказал:

— Ох, уж это мне старичье!

А Морковин пришел домой, сел на пороге крыльца и задумался, опустил голову. Когда же жена, старушка, спросила: «Чего осовел?» — он ответил, невесело усмехаясь:

— Думаю. Каблучков дал команду — думать.

Так большая часть членов бюро была подготовлена «путем опроса». Двое были в отъезде. Галкина для личной беседы Каблучков не вызывал, знал, что с этим разговор будет там, на бюро.

Филипп Иванович и Николай Петрович получили вызов на бюро за два часа до начала. Они, не раздумывая долго, сели в «Москвич». Николай Петрович, сидя за баранкой, сказал, заканчивая какую-то мысль:

— Ну, кажется, теперь нас с тобой не за что ругать.

— А зачем же меня вызывают? По добру так не бывает.

— Вот и я думаю: и ругать вроде не за что, а что-то Каблучков выкаблучивает.

Так они и не знали о повестке дня до начала бюро.

— Вопрос будет о Егорове, — объявил Каблучков. — Сообщаю материалы. На Егорова поступил материал от соответствующих организаций.

Он зачитал заявление Карлюка и Подсушки, не упомянув их фамилий, затем зачитал их же подтверждения, уже назвав фамилии и должности. И стал задавать вопросы Егорову:

— Ты лично против травопольной системы земледелия или нет?

— Я против... шаблона в земледелии.

— Ну, против трав?

— Там, где они не выгодны, и сеять не надо... Без зерна останемся.

— С оговорками, значит?

— Думайте, как хотите.

— Ясно, товарищи! Егоров выложил нутро, но с оговорками. — И задал вопрос уже по следующему пункту: — Ты в Германии был?

— Был. В армии.

— И как ты думаешь, — с улыбочкой уточнял Каблучков, — немецкий образ жизни лучше нашего или хуже?

— Хуже. Позвольте! Я считаю эти вопросы провокационными. Я протестую! — загорячился Егоров.

— Ты постой, постой, Филипп Иванович, — успокоил Николай Петрович. — Надо все выслушать. Больше выдержки.

Николай Петрович и сам внутренне негодовал. Только он умел себя сдерживать.

— Не могу я быть спокойным, когда понимаю, о чем идет речь, — не останавливался Филипп Иванович.

— Товарищ Егоров! — грозно сказал Каблучков и перешел на «вы»: — Не командуйте на бюро! Иначе мы попросим вас вон! И решим заочно.

— А я протестую! Это нарушение партийных норм! — выкрикнул Филипп Иванович. — Вы минуете первичную партийную организацию!

— А я вас спрашиваю: вы на вопросы отвечать будете? Или нет?

— Отвечай! — почти приказал Николай Петрович спокойно. Но в его голосе звучала уже нота надорванности. — Иначе ты будешь бессилен протестовать после.

Руки Филиппа Ивановича дрожали, но он пересилил себя.

— Буду отвечать.

— Так вот, насчет образа жизни. Дороги, машины и тому подобное — как?

— Дороги у них лучше.

— Значит, нам надо у них учиться?

— Насчет дорог — да.

— Ясно, товарищи! — утвердил Каблучков. — Нам остается выяснить один вопрос: где ваш отец, товарищ Егоров?

— Умер, — ответил Филипп Иванович уже угрюмо и зло.

— Отчего умер, товарищ Егоров?

— От смерти, товарищ Каблучков. И я прошу не порочить моего отца.

— Не увиливайте. Я спрашиваю: был отец в плену? — И Каблучков обвел членов бюро взглядом, будто говорил: «Вот еще какие дела он скрывает». — Был или не был?

— Был, — выдавил Филипп Иванович.

— И оттуда не вернулся?

— Не вернулся.

— Все ясно, товарищи! Отец Егорова, Егоров Иван Иванович, остался в плену.

— Не издевайтесь! — крикнул Филипп Иванович. — Отец себя не запятнал! Он...

— Не кричите на бюро! — Каблучков стукнул пресс-папье о стол. — Вы секретарь или я? Не допущу анархии! — И совершенно неожиданно перешел на тихий тон (он так умел): — А на вопросы отвечать будете. Вы опорочили сельскохозяйственный институт в присутствии ответственных лиц, в областном городе. Считаете ли вы, что это достойно звания коммуниста?

— Вопрос казуистический, — ответил Егоров. — Не отвечаю.

Николай Петрович дернул его за полу, а вслух сказал:

— Надо отвечать.

— Ладно, отвечу, если смогу. Отвечу... Систему сельскохозяйственного образования надо перестраивать. Всю. Институты выпускают агрономов не таких... Оторванных от практики. Об этом должен думать и говорить каждый коммунист, работающий в сельском хозяйстве.

Филипп Иванович сел, обхватив голову руками и больше не отвечал ни на какие вопросы.

— Все ясно, товарищи! — заключил Каблучков.

Но тут встал Николай Петрович. Помолчал чуть. Сказал:

— Думаю, что у нас создалась обстановка нездоровая. Мы обошли первичную парторганизацию — это во-первых. Мы обязаны проверить заявление на Егорова и другие материалы.

— Проверено. Точно, — вставил Каблучков, не отрывая взгляда от окна.

Николай Петрович сделал вид, что не обратил внимания на Каблучкова, и продолжал:

— Надо вызвать на бюро этих... как их... Карлюка и других. Убежден — здесь дело не обошлось без клеветы. Это во-вторых. И еще: у тебя, Каблучков, к Егорову личная неприязнь за то, что на партактиве он тебя прочесал вдоль спины. Помнишь? Только я прошу все это записывать. Так. А человек ты злопамятный. Так вот я и говорю... — Николай Петрович уже заметно волновался — все чаще и чаще покашливал в кулак. — Я говорю не для того, чтобы убедить присутствующих здесь, а для того, чтобы это было записано... для других. А там видно будет.

— Не грозись, — вставил Каблучков.

Но Николай Петрович снова не обратил внимания на реплику и продолжал:

— Я знаю Егорова хорошо. Сам он прошел от Сталинграда до Берлина. Два брата погибли. Отец... Отец, конечно, был в плену и там погиб... И вот, товарищи, все это сделано так, чтобы Егорова выбросить из партии, выбросить человека смелого и непримиримого, выбросить человека, знающего село и сельское хозяйство. И все это потому, что есть еще клеветники и есть еще люди, подобные тебе, Каблучков, люди, не понимающие, что такое партия, и попавшие случайно к руководству там, где нарушается демократия в партийной организации.

— Записать! — воскликнул Каблучков.

— Обязательно, — подтвердил Галкин. — Так и записать: верить в великую силу партии, а не в силу Каблучкова.

— Ложь!! — выкрикнул Каблучков. — Ложь не писать!

— Ты, Каблучков, не кричи. Не надо. Авторитет себе подрываешь. А меня этим не возьмешь, я уже тридцать

лет в партии — и ты на меня не кричи. Я, брат, Ленина... видал... лично. В Смольном видал. Так что криком меня не возьмешь... Ну вот... Я считаю — дело передать в первичную организацию.

— А там будешь ты решать, — добавил Каблучков.

— Не я, а партийная организация.

Филипп Иванович сидел все так же, с опущенной головой.

В тишине неожиданно прозвучал голос Морковина:

— Присоединяюсь к Галкину.

— Ну-с, — начал Каблучков, видимо не считая нужным возражать Галкину и отвечать на его высказывание. — Ставлю вопрос на голосование: кто за то, чтобы Егорова Филиппа Ивановича за идеологическое разложение и за анархию в агротехнике исключить из партии? Кто за это — прошу поднять руки... Пять. Кто против? Два. Воздержались? Нет. Принято подавляющим большинством. Все ясно, товарищи!

Наступило молчание.

— Каблучков! — неожиданно прозвучал голос Галкина.

— А?

— Опомнись!

Каблучков покачал головой и сказал:

— Эх-хе-хе-хе! Устарели вы, товарищ Галкин. Стареете и отстаете. И ничего-то вы не понимаете. — И сразу же обратился к Егорову: — Товарищ Егоров! Положите билет на стол.

Только теперь Филипп Иванович понял, что случилось. Он должен положить билет члена партии. Тот самый билет, который сохранял в боях сухим, даже и в то время, когда сам был мокрым до нитки; положить тот самый билет, на котором, на уголке, осталась капелька его крови, напоминая о многих погибших друзьях, о неведомом никому героизме отца. Положить этот билет! Это было не в его силах. Он стоял, сгорбившись, и дер-

жал в руке красную, дорогую сердцу книжечку. Стоял и не двигался. А Каблучков подошел, взял билет за уголок, слегка дернул его и вернулся с ним к столу.

— Не имеешь права! — крикнул Николай Петрович, не сдержавшись. — Это можно только в обкоме!

— Я знаю, у кого можно взять и у кого нельзя, — ответил Каблучков.

Филипп Иванович с трудом смог бы вспомнить, как он вышел из кабинета...

В «Москвиче» по дороге домой Николай Петрович и Филипп Иванович молчали. Было тяжко.

А у гаража, после того как загнали автомобиль, Николай Петрович сказал:

— Ты не того... Не падай духом. Не теряй веры... в партию.

Филипп Иванович крепко пожал руку Галкина, долго держал ее в своей, будто прощаясь навеки, и тихо произнес:

— Спасибо... друг! — И пошел в темноту.

Было два часа ночи.

Филипп Иванович не пошел домой. Он прошел село и пошел меж двух полей — справа пшеница, слева картофель. Шел и шел. Потом остановился, посмотрел в темноту. И вдруг упал ничком в картофельное поле... Прижался щекой к мягкой земле и заплакал горько, безутешно.

Ночь была темная-темная! Тучи закрыли небо. Надвигался дождь. Где-то вдалеке сверкнула молния.

А в поле одиноко плакал человек, царапая скрюченными пальцами любимую землю.

Николай Петрович пришел домой. Поужинал через силу. Ел просто потому, что считал — есть надо обязательно. Так колхозница, похоронив дорогого человека, не забывает вынуть хлебы из печи.

И вдруг ему пришла мысль: «Малый-то он горячий. Как бы чего не сотворил с собой». Он встал из-за стола, не допив молока, и вышел.

Тихонько постучал в окно. Дверь открыла Любовь Ивановна, жена Филиппа Ивановича.

— Дома? — спросил Николай Петрович.

— Нет. А что? Он же с вами поехал.

— Дело-то какое, — замялся Николай Петрович. — Неприятность вышла.

— Не томите! Скорей скажите! — вскрикнула Любовь Ивановна.

— Не надо так волноваться. Все обойдется... Из партии исключили... Ну вот... куда-то ушел.

Любовь Ивановна потащила за рукав Николая Петровича в комнату. Она зажгла лампу, разбудила Клавдию Алексеевну. Она забыла, что стоит перед Николаем Петровичем без кофточки, и тихо плакала, без всхлипываний и причитаний — просто катились непослушные слезы.

— Что же это такое? — спрашивала мать не то сама у себя, не то у Николая Петровича. Она смотрела в пол, скрестив руки на груди и ссутулившись. — Где он?

— Ушел из гаража домой. Поискать бы надо... — А внутренне Николай Петрович ругал сам себя: «Вот я какой старый дурак! Человека в беде отпустил». И добавил: — Может, он в саду?

— Мама! Не в клети ли он лег спать? Не хотел нас будить и лег там. — Любовь Ивановна вышла из хаты, но сразу же вернулась и закричала: — Пойдемте! Поищем!

— Не кричи, Люба, — строго сказала мать. — Пойдем, девонька. Спасибо тебе, Петрович.

— Может, и мне с вами?

— Не надо. Побудь тут, может, без нас придет... Если надо, кликну сама.

Шли они молча. Материнское чутье подсказывало: «Если ушел от гаража домой, то прошел мимо хаты, значит, так и пошел в поле, пошел прямо и прямо — горе не даст кривулять. А если шел прямо и прямо, ничего не случится. Когда человек идет прямо — выдержит».

— Ничего не случится, — сказала она вслух, подтверждая свою мысль. — Не горюй, Люба. Обойдется.

Светало. Филипп Иванович сидел сбоку дороги в картофеле и смотрел на зарю, положив подбородок на колени. Тут и увидели его мать и жена. Он сидел к ним спиной. Любовь Ивановна упала ему на плечо и говорила:

— Филя! Не надо так. Надо держаться. Правда сильнее, Филя.

Николай Петрович после ухода женщин, с рассветом, пошел в сад, спустился к речке, постоял там и вернулся на крыльцо Филиппа Ивановича. Он сел и задумался, наклонив голову. Казалось, дремал. Но он думал. Это была не первая его бессонная ночь — их было много, беспокойных и трудных бессонных ночей. Солдат революции, Галкин всегда думал, жизнь многому его научила. Взвесив все, он решил: Филипп Иванович вернется. И еще думал он о Каблучкове и о многом ином. Не перечислить всего, о чем может думать человек, отдавший всю свою жизнь народу, партии. С тех пор как он взял в руки винтовку, еще молодым рабочим, ни один день не принадлежал ему лично.

Николай Петрович услышал шаги, поднял голову и улыбнулся.

Филипп Иванович спросил:

— Испугался?

— Не то чтобы испугался, а...

— Зря. Не веришь мне?

— Как тебе сказать?.. Человек же ты... Может струна лопнуть. А натянулась она донельзя.

— Ну, пойдем в хату. Люба! Достань нам поллитровку. Спать надо. А так — не уснем, — сказал Филипп Иванович.

Он умылся. Сел за стол против Николая Петровича. И тот заметил в осунувшемся лице Филиппа Ивановича что-то новое: за ночь появилась еще морщина на лбу, но во взгляде выросла уверенность. Казалось, он постарел сразу на несколько лет, и Николай Петрович подумал: «Сам себе душу вытряс».

— Так что выдержишь? Вытерпишь? — спросил он.

Филипп Иванович кивнул головой и налил в стакан водки.

— Вот этого-то и не надо бы, — возразил Николай Петрович.

— Надо, — твердо сказала мать. — И — спать. Спать. Помогает.

— Ну что же сделаешь, надо так надо. Не за горе, а за надежду! — Николай Петрович выпил залпом.

Они поели. Посидели немного молча. Обе женщины вышли, оставив двух мужчин наедине.

— А это уберем, — сказал Николай Петрович. — Пить больше не будем.

Филипп Иванович заткнул бутылку пробкой и поставил в шкаф.

— Может, и еще год постоит... До следующей «надежды»... — проговорил он, отходя от шкафа и снова садясь против Николая Петровича.

— Ну что ж, вера в тебе есть, сила в тебе есть — устоишь. Выдержишь.

— Трудно, друг! — Филипп Иванович поник головой на руку, лежащую на столе. — Обидно и... тяжко.

— Ну потужи, потужи... Помогает, если выскажешь. А если есть слезы — поплачь: легче, говорят.

— Нету слез. И не нужны они. Я их сегодня... последние за всю жизнь. Уже нет их. И не будет. Осталась злоба...

— И это надо. Человек, если он не умеет ненавидеть, не умеет и любить. Все это правильно. Бой только начался. Подтянись. Успокойся. Я, брат, тоже и падал и вставал, был битым и сам бил. Все было. А кажись, правду всегда чуял.

— Я вот надумал сегодня там, в поле: правда в народе. Мы с тобой слышим эту правду. И можем выдержать любое горе. — Он помолчал, потом открыл сундук, порылся в нем, достал конверт и подал его Николаю Петровичу. — Читай. Об этом письме ты знаешь, а читать и тебе не пришлось. Мать говорит: «Читай и помни, как надо жить».

Николай Петрович вынул из конверта письмо, развернул его, надел очки и стал читать про себя. А Филипп Иванович смотрел на друга. Письмо было написано не очень грамотным человеком, корявым почерком, поэтому быстро его прочесть нельзя.

«Письмо к Егоровой Клавдии Алексеевне. — Так начиналось оно. — Пишет вам из плена солдат Степан Федотыч Чекушин. Еще кланяюсь вам, супруга моего товарища, Клавдия Алексеевна. И еще кланяюсь вашим детям, каких я тоже не знаю. И еще кланяюсь вашим родным и всем родным Ивана Ивановича Егорова. И еще кланяюсь председателю вашего колхоза. И пусть они все узнают, как по-русски помер Иван Иванович. Сам я из Пензенской области, и скоро мне помирать, А идет завтра ночью один человек из плена, убегает, а я ему даю это письмо и говорю ему, чтобы письмо было пущено на первой почте, если проберется к своим. Это я вторично пускаю письмо. Мне скоро помирать, а

люди и не узнают, что было. А еще одно письмо зашито у меня в картузе: как помру, то мой картуз наденет другой товарищ, а если он помрет, то наденет третий. Так что кто-нибудь да останется жив, а картуз не пропадет, и люди все равно узнают, что было. Я, наверно, остался один из тех, кто был со мной в части, а тут, в лагере, помру я обязательно, так что есть нам почти не дают, а с красной свеклы мы все не выдерживаем и начинаем пухнуть и хворать, а потом все равно помираем. И нам не страшно помирать.

А было все так.

Наш полк бился три дня и три ночи, а кругом были немцы. Осталось нас человек пятьдесят, а то и того не будет. И больше все раненые. И майор с нами пока был, товарищ Зиновьев, а других командиров побили в бою. И тот майор был поранен в голову, его перевязали без сознания, а командовать стал молоденький лейтенант Степин, и его тоже убили. А потом стал командовать старшина, но у нас кончились боеприпасы, не было ни снарядов, ни патронов.

Со мной рядом стоял Иван Иванович Егоров, ваш муж и мой товарищ до гроба. Я был поранен в грудь, а он в плечо. Так мы и попали сюда в лагерь.

Прошло полгода. Рана у Ивана Ивановича зажила. И стал он тосковать. Один раз он мне говорит: «Убегать надо, Степа. Не могу я тут быть». А куда мне убегать, говорю ему, если я уж и подняться не могу. Он тогда и говорит: «Брошу я тебя, Степа. Не осуди». И стал он собираться. А через месяц, темной ночью, он мне сказал: «Прощай, Степа. Прощай, говорит, друг мой боевой. Если от лагеря не уйду, то напиши, говорит, по адресу письмо Клавдии Алексеевне». Ну, думаю, на смерть пошел.

А утром все увидели: повис Иван Иванович на ко-

лючей проволоке. И висел он так весь день. Не давали убирать для устрашения. Так и пропал мой друг.

А в лагере я живу уже больше года. Все мои однополчане тут пропали. Так что один я, должно быть, остался от всего полка. А потому и должон стоять, пока живой.

И еще кланяюсь вам, Клавдия Алексеевна, и прошу вас не плакать. А как вы поймете наши страдания, то не будете плакать. Так что нельзя плакать над героем вашим Иваном Ивановичем. Пущай же дети наши и наши внуки будут знать, как надо жить, чтобы спокойно было умирать и чтобы они знали, какие были люди, такие, как мой друг дорогой Иван Иванович Егоров, рядовой девятьсот пятьдесят пятого полка.

А я скоро помру обязательно. Так что письмо это пишу через силу. Но соображение еще не потерял. Прощайте. Кланяюсь вам земно. Пущай люди помнят Ивана Ивановича.

А по вот этому адресу напишите моему сыну письмо. что я помер в плену. И пусть он помнит о тяжкой доле пленных, погибших за Родину. А жена моя померла в войну, остался один сын восемнадцати лет. Может, и он теперь в солдатах. А письмо напишите, так что я уже не в силах написать.

И прошу я, перед смертью, прощения у всех родных русских людей, что не на поле брани приходится гибнуть, а на нарах и хуже скота. Рана моя и болезнь, а то бы я все равно убег. А вам и вашим детям желаю доброго здоровья и в хозяйстве благополучия, и быть вам желаю всегда сытыми, обутыми и одетыми.

Прощайте и не осудите, добрые люди!

Девятьсот пятьдесят пятого полка рядовой Степан Чекушин.

Одна тыща девятьсот сорок третьего года, а числа не помню».

Филипп Иванович все смотрел на Николая Петровича. А тот кончил читать, посмотрел на Филиппа Ивановича, заморгал-заморгал, снял очки, встал из-за стола, отвернулся и, проведя пальцем по глазам, сказал:

— Глаза что-то... Вот уж некстати... — Он и здесь сумел сдержаться, этот сильный духом и спокойный с виду человек. Он снова сел, побарабанил пальцами по столу, задумался. Потом спросил: — Сыну-то писали?

— Мать писала. Вернулось письмо: адресата не оказалось.

— Распалась семья, значит?

— Распалась.

И снова они помолчали. И снова начал Николай Петрович:

— Отец-то коммунист?

— Да. Бригадиром работал.

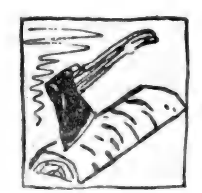
Они еще помолчали. О многом надо было поговорить, и все-таки разговора не было. Бывают такие моменты в жизни, когда надо помолчать, осмыслить происшедшее в самом себе, внутренне уложить в порядок пережитое. Только после этого появляется снова ясность мысли и четкость вйдения.

Перед уходом Николай Петрович сказал вопросительно:

— А может быть, мы с тобой кое-что еще и не знаем?

— Наверное, — ответил Филипп Иванович

— Тогда вот что: спать, Филипп Иванович. Спать! А потом подумаем. — Он отошел, взялся за ручку двери и еще раз повторил: — Спать.



ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

ОКЛЕВЕТАННЫЙ

Говорят: у клеветы длинный язык, но короткие ноги. И все-таки как иногда далеко доходит она этими короткими ногами и как больно жалит сердце честного человека своим длинным языком-жалом. Еще хуже, когда человек не имеет возможности опровергнуть клевету. Тогда она оставляет саднящую рану надолго, иногда на всю жизнь.

Тяжко было Филиппу Ивановичу. Но близкие люди делили с ним горе — он не был одинок. В семье незаметно шло тепло от матери, но ему было жаль мать, перенесшую и без того слишком много горя; он чувствовал ласку жены, но ему было больно от одной мысли — как он скажет сыну, Коле, об исключении из партии, поймет ли мальчик; он с благодарностью думал о друге Николае Петровиче, но ему было не по себе оттого, что, не раз битый за прямоту, его друг может оказаться битым и еще раз, — ведь после всего происшедшего Каблучков при первом же случае отстранит того от должности председателя колхоза. И еще Филиппу Ивановичу тяжело было думать о том, что колхозники могут не понять причины исключения его из партии.

С такими мыслями он и встретил следующий день.

С утра пошел в правление колхоза. Ничего не делать он не мог. По привычке он договаривался с Васей Боевым о работах на сегодняшний день, говорил о предстоящей уборке с бригадирами, отчитал их легонько за медлительность в подготовке уборочного инвентаря. День начинался обычно. Вася, помимо прочих претен-

зий о прицепщиках, о подвозе горючего, сообщил, что Рюхина Пал Палыча нет на работе второй день: говорят, будто заболел.

Николай Петрович, поспав пару часов, уже уехал на луг и на огород: он тоже продолжал жить размеренной жизнью, в которой нет места безделью и бездумности. Колхоз продолжал жить так, будто вчера и не произошло особого события. Только отсутствие возражений со стороны бригадиров, их сочувственные взгляды с оттенком неприятной Филиппу Ивановичу жалости да особая почтительность конюхов говорили о том, что случилось. Молва пронеслась быстро. Но Филиппу Ивановичу хотелось быть среди этих людей, несмотря на то, поймут ли они случившееся или не поймут. Вспомнив о болезни Пал Палыча, он пошел его проведать. И там, у Пал Палыча, он тоже понял, что в его семье все идет своим чередом. Но одна деталь запала ему в душу.

Он вошел во двор Пал Палыча через калитку. Как всегда, хозяин был занят делом: сидел на коленях перед дровосекой и обтесывал топором высокую палку с рогулькой на конце. Рядом с ним лежала собака-дворняжка. Он и у себя во дворе оставался таким же степенным, медлительным, скупым на разговоры.

— Здорово, Пал Палыч! — приветствовал Филипп Иванович.

Тот оглянулся, посмотрел внимательно и только тогда ответил, снова продолжая работу:

— Здорово.

— Заболел, что ли?

— А что?

— Говорят мне — два дня на работу не выходил.

— А-а...

— Или что случилось другое?

— Не. Болею. Грып.

— Лежать надо.

— А?

— Лежать, говорю, надо.

— Гм... Попробуй полежи без дела два дни.

— А болит?

— И кости... И голова.

— Лечишься?

Пал Палыч сначала кивнул на дверь хаты, а уж потом, более тихим голосом, чем прежде, сказал:

— Попробуй у нее... полечись! Вона-а!

— У кого?

— Да разве ж моя баба даст полечиться по-человечески? Ни в жисть!

— Не понимаю!

— А тут и понимать нечего. — Пал Палыч воткнул топор в дровосеку, внимательно посмотрел на собаку, и, кажется, улыбка мелькнула у него в усах. — Я знаю, что от грыпа — красный перец, стручок на два стакана водки, и — на ночь. Все! Как рукой.

— А в чем же дело?

— Куда та-ам! Одно пилит: «Клюцекс пей».

— Что?

— Клюцекс.

— А-а!.. Кальцекс!

— Ну пущай так. Пустяк, а не лекарство. Раз нутренность не берет — не лекарство... Не понимает, а пилит, и пилит, и пилит...

— Небось под горячую руку говоришь-то?

— А я тебе так скажу... — Пал Палыч почесал висок, надвинул козырек на глаза и указал на собаку. — Видишь — собака?

— Ну?

— Она лучше иной бабы. Ей-бо! Собака на хозяина не лает.

— Да в чем у вас дело-то? Не пойму, — снова недоумевал Филипп Иванович, пожимая плечами.

— Ей, вишь, рогульку надо — веревку подпирать, когда белье сушить.

— Ну?

— Дак вот и брешет.

— И давно так-то?

— Да уж... с полгода будет.

— Ну и сделал бы.

— Вот... видишь... делаю. — И он снова стал затесывать сучья и кору у рогульки. — Если бы не заболел, так бы и не сделал до зимы. Некогда мне, кажин день на работе. Ишь ты! Я буду рогульку делать, а трактора будут стоять. Интересно!

Пал Палыч тесал, Филипп Иванович смотрел, как ловко он орудует топором. Не сразу пришла мысль: была война — Пал Палыч возил к тракторам воду днем и ночью; прошла война — он делал то же самое, только воду возил; давали по кило на трудодень — Пал Палыч ежедневно работал; давали по триста граммов — он делал то же самое. И так каждый день. Ежедневно, начиная с ранней зари и до поздней ночи. А на натруженных руках выступили хрящеватые мозоли. Замызганные брюки лоснились на нем от солнца, а картуз неопределенного цвета, пропитанный всеми составами земли, воды и керосина, тоже блестел, закрывая глаза владельца. Почему-то пришло в голову Филиппу Ивановичу: «Поделиться с ним своим несчастьем. Рассказать. Вряд ли люди, руководящие колхозом, доносили до Пал Палыча свою душу. И главное: что он скажет? Как примет?» Подумав так, он сказал:

— Не слышал, Пал Палыч, новость?

— Ай опять мериканец ватомную бомбу разорвал где? — Пал Палыч закончил свою рогульку, воткнул ее в землю, закурил и подал кисет Филиппу Ивановичу со словами: — На-ка, закури. — Видимо, он приготовился слушать новость международного масштаба.

— Нет, не бомба. А тут дело такое: из партии меня исключили.

— Как это так — исключили?

— Ну как? Исключили, и все.

— Непонятно. Насчет водки—ты не замечен. Насчет баб — никогда не слыхать. В поле — порядок, вот-вот, глядишь, и на трудодень дадут, как у людей. Кормов у нас сроду, спокон веков столько не было. Непонятно, за что же это?

— Наклеветали на меня, Пал Палыч.

— А разве ж можно из партии выгонять по навету?

— Нельзя.

— Ну, значит, все и обойдется. А ты знаешь как? Собери общее собрание колхоза и расскажи все по душам. Да позови секретаря райкома на собрание-то. А мы там и скажем, можно иль не можно.

— Этого я сделать не могу. Нельзя.

— Это как так — нельзя? Надо бы спросить и у нас. Как, мол, товарищи колхозники, заслуживает такой товарищ или не заслуживает? Отчего не так, мы в этом деле поможем им разобраться.

— Нельзя, — повторил Филипп Иванович.

— А чего же можно? Ну тогда надо жаловаться. Пиши. В центр пиши. Нельзя, дескать, выгонять, кого народ уважает...

— Как, как? — спросил Филипп Иванович.

Но Пал Палыч пояснять не стал, видимо полагая, что он сказал достаточно ясно. Но добавил:

— И можно бы написать еще: нам, мол, говорят:

«Работай!», а спрашиваться у нас — ни капельки! А ведь твой Каблучков не высидит пшеницы этим самым местом. — Пал Палыч показал ладонью, каким местом не высиживают пшеницу, и утвердил окончательно: — Так и напиши. Понял? Не об одном себе пиши. Обо всем пиши. Вот и поймут — не о себе болеешь. И опять примут обратно.

Такая разговорчивость была для Пал Палыча необычной. Что-то прорвалось у него внутри, о чем-то он и раньше думал, а теперь вот говорит и говорит, хотя высказывается так же не спеша, как и всегда.

— Не о себе пиши. Обо всем пиши, — в раздумье повторил Филипп Иванович.

— Потому о себе только — довольно совестно, — уточнил Пал Палыч.

На крыльцо вышла его жена, низенькая, полная и боевая старушка.

— Лукерья! — окликнул ее хозяин. — Принимай работу. Замеряй и клеймо ставь. — С этими словами он взял рогульку и потряс ею в воздухе. Потом попробовал встать, но не мог разогнуть спины. Он охнул, схватился за поясницу и проговорил тихо: — Чертов грып! Взял все-таки. Не осилил я его.

Филипп Иванович поздоровался с хозяйкой и стал «помогать» Пал Палычу:

— Лукерья Васильевна! Напрасно вы возражаете против домашнего лекарства. Говорят, помогает.

Она подошла, осмотрела рогульку и сказала:

— По медицине надо следовать. У нас сын фельдшер, на Дальнем Востоке.

— Ну, слухай, Лукерья! Если уж точно по медицине, то так: штуки две-три клюцексу и стакан водки с перцем.

— А мне-то что? Да пусть себе пьет. Там — в сунду-

ке, — сказала она так, будто отвечала одному Филиппу Ивановичу.

— А что ж: моя баба сто сот стоит. Мы с ней — душа в душу.— Пал Палыч, видно, признавал над собой власть жены и в общем-то не очень тяготился этим.

...Обратно Филипп Иванович шел быстро, хотелось поскорее увидеть Николая Петровича. Шел и думал: «О себе только — совестно. А я-то вчера только и думал о себе». Шел, а из головы не выходило: «Обо всем пиши. Вот и поймут».

Николая Петровича он встретил, улыбаясь. Тот даже удивился, ожидая угрюмости и, может быть, отчаяния.

— Ну как? — спросил Николай Петрович.

— Во! — ответил Филипп Иванович и показал большой палец. — Я еще не последний солдат из полка. Полк цел. Будем драться.

— Оно так-то лучше. Ну, пойдем в кабинет.

И они вошли в правление.

— Главное дело,— продолжал Филипп Иванович, — написать обо всем! Писать о нарушении демократии, о положении колхозов, об агротехнике и шаблоне. Писать все: поймут.

— Что ж, это верно. Но знаешь что тебе скажу? Получается у нас с тобой по русской пословице: «Гром не грянет — мужик не перекрестится». Пока тебя не ударили, мы тоже охали, ахали, молчали, шептались, а не писали, не протестовали.

— Значит, надо нам исправить нашу линию! Драться по-партийному!

— Ну, давай, выкладывай, что надумал.

— Ты видишь, что в сельском хозяйстве неблагополучно, что в районной партийной организации неблагополучно? Видишь. И я вижу. И другие члены партии видят. Значит, партия видит. Понимаешь? Надо писать прямо в Москву.

— Пожалуй.

— Если даже меня и восстановят в партии, то все равно надо писать... О каблучковых, карлюках, черноха-ровых, о земле, о колхозниках. Теперь я уже не могу. Злоба у меня.

— Правильно. Писать. Но не очертя голову, а с разумом. Не лбом пробивать, а мозгом.

— Ну, советуй! Николай Петрович, советуй! — сказал Филипп Иванович.

— Дай подумать. Подожди чуть... Не возражаю, готовь письмо постепенно, все давай взвесим... И дай подумать. И сам подумай. Дело-то большое. Надо сказать слово члена партии, а не обиженного. И действуй по уставу: подавай жалобу в обком на неправильное исключение. Сам поеду туда, повезу твою жалобу... Да и со старыми друзьями надо повидаться. Там есть люди поумнее нас с тобой.

И Филипп Иванович согласился с доводами Николая Петровича.

Прошел месяц. Николай Петрович вернулся из области угрюмым, молчаливым. Он не пошел к Филиппу Ивановичу, а дождался его у себя дома. Закрыл окна и ходил по комнате в полусумраке.

— Плохо дело? — спросил Филипп Иванович.

— Плохо.

— Утвердили решение бюро?

— Утвердили.

— Что еще нового?

— Секретаря обкома переводят в другую область.

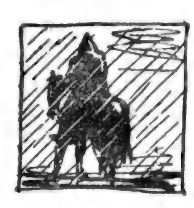
— И что же?

— Каблучков остается на неопределенное время.

— Да-а... Вот это да-а... — протянул Филипп Иванович. — А что говорят умные люди?

Николай Петрович перестал ходить. Он остановился перед Филиппом Ивановичем, засунул руки в карманы пиджака и сказал:

— Езжай в Москву. Надо попасть в ЦК. Во что бы то ни стало попасть. Живи там неделю, две, три! Но попади и отдай письмо. Надо донести мнение рядовых членов партии о положении в сельском хозяйстве... Вечером приходи. Принеси письмо — еще раз подумаем.



ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

НАСТУПИЛА ОСЕНЬ

На другой день Филипп Иванович получил приказ Карлюка. В приказе говорилось: «Егорова Филиппа Ивановича освободить от работы по причинам, сформулированным решением бюро при исключении из партии».

Филипп Иванович пошел в правление, положил перед Николаем Петровичем приказ и сказал:

— Из партии исключен, с работы снят, что и требовалось доказать. Я свободен — можно ехать в Москву.

Николай Петрович прошелся по кабинету, постучал пальцем по барометру, потом подошел к окну и посмотрел в небо. Густые кучевые облака лезли с юго-запада всклокоченной ватной стеной.

— Видишь? — спросил он у Филиппа Ивановича. — Будет дождь.

Филипп Иванович тоже стал у окна и посмотрел в небо. Они стояли рядом, плечом к плечу. И молчали. Потом Николай Петрович сказал:

— Уборка только началась. Осень, по всем приметам, ожидается дождливая. Что я буду делать без агронома?

— Пришлют, — коротко ответил Филипп Иванович.

— Кого? Девочку со школьной скамьи? Ей еще надо годика два-три, чтобы понатореть — понять, узнать людей, почву, поля. Практика, брат ты мой, великое дело.

— Но я-то тоже был молодым, — возразил Филипп Иванович.

— А что ж, думаешь, не ломал дрова в поле?

— Ломал, конечно. Ошибался до смешного. Но это ничуть не значит, что от молодого агронома надо открещиваться.

— И это правда... Видишь ли, к чему я это все говорю, — обожди-ка ты... недельки две с поездкой в Москву. Может, хоть зерновые кончишь. А? Что ты на это скажешь?

— А это? — спросил Филипп Иванович, указав пальцем на приказ об освобождении от работы.

— А что тебе «это»? Лишен зарплаты — больше ничего. Это тебе не завод и не фабрика.

— Не понимаю, — недоумевал Филипп Иванович. — Есть-то мне и семье что-то надо?

— Обязательно.

— А к чему тут завод или фабрика?

— Очень просто. На заводе приказ об освобождении от работы есть запрещение работать на данном заводе, а не только лишение зарплаты. А в колхозе запретить работать никто не имеет права, кроме общего собрания. Ты колхозник. Зарплаты тебя лишили...

— Значит?

— Значит, надо переходить на трудодни.

— Прицепщиком разве? — серьезно спросил Филипп Иванович.

— Зачем прицепщиком?.. Полеводом. Обыкновенным

полеводом, на полтора трудодня за день. Решим на общем собрании, и — закон.

Филипп Иванович улыбнулся.

— Так-таки и не хочешь отпускать?

— Пожалуйста, уходи в другой район, агрономствуй, — развел руками Николай Петрович, зная, что Филипп Иванович никуда не уйдет. — Письма будешь мне писать, а я буду отвечать с запозданием. Одному мне будет не до писем.

— А я буду телеграммы слать с оплаченным ответом.

— А я тебе на оплаченные телеграммы — плачевные ответы.

Филипп Иванович вспомнил разговор с Пал Палычем и тряхнул головой.

— Все! Кроме шуток — иду на трудодень. В самом деле, к черту этот приказ! Порвем?

— Порвем, — согласился Николай Петрович.

И Филипп Иванович тут же разодрал бумажку на несколько частей.

Вошел почтальон, положил газеты на стол и вышел. Николай Петрович развернул газету, пробежал глазами и, не выпуская ее из рук, выскочил из-за стола.

— Филипп Иванович! — вскрикнул он.

— А ну? Что?

Оба облокотились на стол и плечом к плечу наклонились над газетой. Оба сразу прочитали одновременно: «На днях состоялся пленум ЦК КПСС. Постановление... принятое седьмого сентября». Потом в комнате было тихо. Долго было тихо. Наконец оба выпрямились, радостно посмотрели друг на друга и крепко пожали руки.

Они согласились на том, что Филипп Иванович задержится с поездкой в Москву «недельки на две». Да и сам он теперь считал, что в его письме еще не все

сказано, что надо еще и еще над ним думать, дополнять, исправлять.

...Пришла осень. Давно уже прошли те самые «недельки две». Уборка, хлебосдача, осенний сев, зябь, силосование кормов — все это в колхозе идет одновременно. И все надо успеть сделать вовремя. Помимо того, Филипп Иванович убрал урожай на опытных делянках, заложил опыт с озимой пшеницей по трем видам паров. Он рассчитывал в конце сентября отправиться в Москву. Но... пошли дожди.

Что такое дожди в сентябре для колхоза?

В поле стоит неубранным красно-бурое просо, тоскливо поникая метелками; стоит огромное, в триста гектаров, поле подсолнечника; лежит в земле картофель. И ни к чему нельзя прикоснуться: комбайны не могут даже стронуться с места, а не то чтобы косить; из жидкой грязи не выпашешь картофеля. Ветер ломает просо, и на глазах урожай уходит обратно в землю. Шляпки подсолнечника начинают загнивать, пораженные болезнью — склероцинией. Но токах лежат вороха зерна под открытым небом. С неба — дождь. А из района телефонограммы: «Не обеспечили уборку», «Не выполнили в срок план поставок», «Срываете план хлебозакупок», «Тянете назад весь район» (каждому колхозу), «Будут приняты строгие меры»... И так далее. А хлеб гибнет, не подчиняясь строгим телефонограммам. И душу председателя колхоза уже не тревожат телефонограммы, не оставляют следа бессмысленные в такое ненастье прения на бюро насчет погоды. И не очень-то тревожит ожидание неизбежного «предупредить», или «поставить на вид», или «вынести выговор». Что сделаешь с погодой! Поле — не завод. А небо — мутно-серое, тревожно-косматое — остается небом. Из него то через мелкое сито сыплется водяная пыль, то льет и хлещет косыми веревками густой ливень, оставляя пузыри на лужах.

Кажется, кто-то заквасил землю и небо и пучит их пузырями.

И холодно! Холодно сидеть в поле под комбайном, прикрываясь соломой. Только и остается — зарыться в мокрой копне поглубже и попробовать еще раз спать. Дрожко! Очень дрожко сидеть женщинам на току, в ватниках, прижимаясь друг к другу молча в ожидании погожего часа. Очень муторно жить в эти дни трактористу в дощатой будке и посматривать на обмытые дождем безмолвные тракторы, на гусеницах которых уже прилепилась легкая ржавчина. А дождь идет. Ползет туча за тучей, туча на тучу. Льет вода сверху на воду снизу. Мокро. Холодно. Сиверко. Жалко хлеба. Так жалко, черт возьми, что хочется грозить кулаком в небо... Мрачные мысли. Зачем скрывать — тоскливо в такую осень! Это не золотая осень, воспетая много раз, это мокрая ранняя осень, от которой человек со слабой душой и беспокойным сердцем может махнуть рукой, плюнуть и — черт бы все побрал! — запить горькую, пока не проглянет солнышко. Недаром в такую погоду самогонщики работают с полной нагрузкой.

Скользко. И темно. И дождь все идет, идет и идет. Хлеб гибнет.

Вот что такое ранняя дождливая осень в колхозе.

В такие-то вот дни Николай Петрович даже почернел от забот и холодной слякоти. Но на бюро постоянно хмуро молчал или коротко говорил: «Постараемся...», «Будем прилагать все силы...», «Выправимся...»

Однажды при снятии очередной «стружки» Каблучков сказал:

— Умышленно задерживаешь хлеб. Пригрел под крылышком исключенного Егорова.

На этот раз Николай Петрович получил выговор, принял его молча и уехал снова под дождь. Филиппу

Ивановичу он об этих словах Каблучкова ничего не сказал — пожалел.

А Филипп Иванович схватывал любой погожий час, мотался верхом по полям и токам, в плаще, севшем коробом. Он скакал в отряд и направлял трактор на склон или супесь, где можно было помаленьку пахать, и простуженным голосом хрипел:

— Вася! Будь другом, паши в десятом. Супесь — пойдет. Отними один корпус, облегчи. Иначе дело табак. Не управимся с зябью, тогда на будущий год — зубы на полку.

— А куда будем девать перерасход горючего? — спрашивал кто-нибудь из трактористов.

— Натягивайте на других работах, но зябь чтобы была. Как вы не поймете простой вещи! Вот этот хлеб,— он указывал на просо, — подготовлен в прошлом году вами же, хорошей зябью. Ребята, не надо серчать. Прошу. — Он подсаживался к самому молодому трактористу, Сереже, запросто обхватывал его за плечи и спрашивал: — Ну? Понатужимся?

— Понатужимся, — отвечал тот баском. — Раз надо, значит, надо.

— Понятно? — обращался уже ко всем Филипп Иванович и улыбался.

И трактористы знали, что этот простуженный агроном с потрескавшимися губами, обросший щетиной, не будет говорить много и долго, но уедет из отряда только вместе с трактором и будет проходить с ними первую борозду, пока не убедится, что на супеси пахать можно.

Филипп Иванович пробовал — регулировал глубину, отнимал вместе с трактористом и прицепщиком корпус и торопил, торопил:

— Хватайте каждый час. В день по два-три часа урвать — за неделю наберется двадцать часов, а это целых три смены. А глубину на супеси больше шестна-

дцати сантиметров и не надо. Неглубокая зябь лучше всякой весновспашки.

— А нам было указание — на двадцать пять,— говорит Сережа.

— Ну, тут уж моя ответственность. В случае чего, так прямо и сваливай на меня. Мне теперь не страшно.

Как-никак, а Филипп Иванович «выбивал» за неделю тридцать — сорок гектаров зяби. «Нельзя уехать, пока зябь не будет закончена»,— думал он, отъезжая от тракторов. И скакал на ток: скорее, пока дождя нет!

На токах он действительно «тормозил». По его настоянию и совету работа «в солнечных просветах» была сосредоточена на одном току из четырех.

— Не трогать ворохов! — хрипел он натуженно. — Зерно промокнет только сверху. А тронь ворох, перемешай — пропало все.

И он ехал с несколькими колхозниками на три других тока, показывая, как надо окопать ворох канавкой и отвести сток, чтобы вода не подошла снизу. Он запретил накрывать эти вороха соломой, так как заметил, что под мокрой соломой зерно запаривается в глубину быстрее. А уезжая с токов, думал: «Нельзя уехать из колхоза, пока не сохраним зерно».

На том току, где сосредоточена основная рабочая сила трех бригад, «солнечные просветы» использовались так. Филипп Иванович расставил живой конвейер от ворохов до сарая: сверху, с одной стороны вороха, удаляли мокрое зерно, брали его ведрами, и из рук в руки ведро шло в сарай, к веялкам. Навеянное отвозили в зернохранилище на тракторе (автомобили не проходили по грязи). Как только находил дождь, ворох заравнивали, работа прекращалась и все снова сидели. Часто проходил в мучительном безделье колхозников весь день. Но с поля уходить нельзя — вдруг выпадет

час. И снова Филипп Иванович убеждался: «Уехать в Москву сейчас нельзя».

А Николай Петрович изворачивался и возил хлебопоставки, возил помаленьку, но систематически. Пять-шесть подвод, запряженных тройками, ежедневно отправлялись на станцию с хлебом. Больше нельзя было — не было брезентов, да и сухого хлеба больше этого количества не наготовишь в такую погоду. И еще корма надо подвозить скоту. Транспорта не хватало, людей не хватало, поэтому он тоже, как и Филипп Иванович, метался по хозяйству с утра до вечера. И думал: «Что бы я делал без Филиппа Ивановича? Разорвался бы на две части».

Потом выпадало несколько ведренных дней, и Филипп Иванович набрасывался на комбайнеров, ладил с ними машины и торопил. Потом вдруг снова дождь, снова слякоть, мокрая спина, огрубевший плащ и колючие мурашки по спине. Бр-р-р!

Один из ворохов, накрытый ранее, в начале дождей, начал «гореть». Филипп Иванович увидел тонкие, еле заметные струйки пара. Он соскочил с седла, сунул руку в зерно по самое плечо, взял в горсть и выругался. Зерно было горячим на всю глубину вороха — пшеница горит. Он постоял-постоял около вороха, потом обошел его вокруг, прикинул на глаз — центнеров четыреста! — и погрозил кулаком в небо.

— Раскисло!— зло бросил он, обходя ворох.

Казалось, он был бессилен, поэтому обозлился на весь белый свет. Дождь стучал по плащу, плескался в лужицах. А Филипп Иванович не уходил с тока — думал. И вдруг его осенила мысль. Он вскочил в седло и поскакал в село к Николаю Петровичу. Нашел он его около фермы, повязанного вокруг шеи шерстяным платком (он тоже простудился и покашливал).

— Вот, брат ты мой, занемог не к сроку,— сказал он.

— Надо лечь, — угрюмо сказал Филипп Иванович.

— А сам хрипишь — ничего?

— А черт бы меня взял, — снова с такой же мрачностью сказал Филипп Иванович.

— Вижу, с бедой прибыл. С чем прискакал?

Филипп Иванович помолчал и ответил:

— Горит.

— Где?

— На третьем току.

Николай Петрович подумал, смотря в землю, и спросил:

— Говори сразу. Что надумал?

— Взорвать небо! — со злобой воскликнул Филипп Иванович.

— Да брось ты, пожалуйста, злиться. Не желаю я с тобой сейчас ругаться. Ну?

Филипп Иванович заметил в глазах Николая Петровича болезненный блеск — видно, его температурило.

— Вот и ну... Ложиться тебе надо, Николай Петрович, — уже более мирно сказал Филипп Иванович.

— Хлеб будет гореть, а я буду лежать. Покорно благодарю!

— То, что я надумал, потребует хлопот.

— Ну?

— Перенести крытый ток с усадьбы.

— А ты не рехнулся?

— Возможно.

— Выкладывай. Не злись. Самому тошно.

— Чтобы перевезти ворох к крытому току, где кончаем веять, надо двадцать рейсов трактора. Никто нам не даст для этой цели тракторов — мы и без того Васе Боеву навалили перерасход. Перевезти на лошадях в этакую слякоть — и думать нечего. Ну, допустим, возь-

мем трактор. И все равно потребуется двадцать — двадцать пять рейсов, неделю будем валандаться и еще больше перемочим хлеб. А чтобы перенести крытый ток, надо только четыре рейса — один день. Сегодня же заготовить ямы для столбов, завтра перевезти. Солома для крыши там, на месте. Работать, несмотря на дождь. Зерно — под крышу, и веять, ворошить, еще раз веять. Спасем хлеб.

— Не хлеб к сараю, а сарай к хлебу? Наоборот?

— А мне сегодня и пришла мысль: изобрести переносный крытый ток. Просто ведь, а никто не подумал из строителей.

— Ну что ж, пожалуй, давай согласимся. Попробуем.

Всех мужчин, кроме животноводов, перебросили на аврал. За два дня ток был готов. Хлеб спасли, но годен он был только на фураж. А крытый ток так и остался в поле — решили не возвращать его на старое место, а в будущем году построить новый. Филипп Иванович уже набрасывал на ходу схему будущего переносного крытого тока.

Так ежедневно находились дела неотложные, такие, от которых зависела судьба колхоза в этом и будущем году. Оба друга знали, что в такое трудное и горячее время года отлучаться ни тому, ни другому нельзя.

Так прошла и половина ноября. Ударили морозы. Колхозники закутались кто во что, зимние кожухи замелькали в поле — то на подсолнечнике, то на кукурузе. У комбайнеров полопались и кровоточили пальцы, у девчат облупились обветренные носы, старики ходили красноглазые, закрываясь рукавицей от ветра. Но хлеб весь был убран. И в этом была большая доля труда и Филиппа Ивановича. От всяких же выговоров, неизбежных в такую осень, Филипп Иванович был избавлен, он был обыкновенным колхозником.

И только уже зимой, получив на трудодни деньги, Филипп Иванович собрался в Москву.

Николай Петрович несколько ночей просидел над письмом новому секретарю обкома, выпросил у Клавдии Алексеевны письмо Степана Чекушина и приложил его к своему. По пути в Москву Филипп Иванович заехал к Герасиму Ильичу Масловскому. Тот написал от себя лично письмо в ЦК партии обо всем, что тяготило душу честного ученого.

В Москву ехал бывший агроном, исключенный из партии и снятый с работы. Он упорно продолжал считать себя членом партии.



ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Давно мы расстались с Карпом Степанычем Карлюком. Как вы помните, мы расстались с ним тогда, когда он лег спать после трудового дня, опустив три конверта в почтовый ящик. Он выполнил все, что задумал. Егоров теперь не опасен: «Личное дело» осталось чистым, как слеза грудного ребенка.

Карлюк был уверен в том, что Егорову уже никто не поверит: опороченный человек теряет веру в глазах других. Карлюк победил. Благодаря Каблучкову борьба с Егоровым была теперь уже пройденным этапом.

За этот прошедший год Карп Степаныч собрал массу материалов для докторской диссертации и предполагал в ближайшие дни сделать на ученом совете сообщение об итогах исследований в своей теме. А предварительное сообщение, если оно принято с одо-

брением, — уже половина дела. Теперь требовалось предварительное угощение, ибо предварительное сообщение без предварительного угощения Карп Степаныч себе представить не мог. Такая уж у него была щедрая натура. В этом не могло быть никакого сомнения. Вот почему, когда Изида Ерофеевна пробовала возразить против расходов, он и повторил супруге любимое изречение:

— Из всех подражаний самое трудное — быть щедрым.

Изида Ерофеевна возражать в данном случае не стала и согласилась.

Каждый понимает, что нельзя же просто так сделать: позвал и угостил. В науке еще не дошли до той милой «простоты», как, скажем, в ином колхозе. Там так: кликнут в окно бригадира — и ставят на стол «полмитрича». Войдет бригадир, поздоровается, увидит бутылку и спросит: «Чего просишь?» Ему отвечают тут же: «Подводу — в лес». Тогда он выпьет пару стаканов и скажет вежливо: «Можно». И все. В науке же на этот счет имеются свои законы, правила, никем не писанные инструкции. Тут полагается делать так: придумывается какая-то знаменательная дата в семействе и приглашаются нужные люди. Лучше всего подходит для таких случаев день рождения — отца, матери, любого из детей, внуков, племянников, сестер, дедушек, бабушек, если таковые имеются в наличии. Но войдите в положение Карпа Степаныча: его день рождения уже отмечался официально (с теми же лицами), день рождения Изиды Ерофеевны тоже достаточно известен. Чей, спрашивается, день рождения праздновать? Не мог же Карп Степаныч родиться дважды! Да и кто позволит?

Трудное получалось положение у Карпа Степаныча. В поисках решения задачи он ходил из угла в угол, а супруга сидела, прислонившись щекой к комоду.

— Момент упущен, — сказал Карп Степаныч, как и обычно, приходя в отчаяние. — Послезавтра предварительное сообщение делать. Остается только один день.

— А ты бы, Карик, на свой день рождения и договаривался бы.

— Интересно! За полгода вперед! Да они и за две недели забыть могут... Люди же. И люди занятые.

— Правда... Ну что же придумать? Что придумать? — ломала голову Изида Ерофеевна.

Так они и легли спать, ничего не решив окончательно.

И только глубокой ночью Изида Ерофеевна придумала. Она толкнула мужа в бок и спросила:

— Спишь?

— Нет. Не до сна.

— Не придумал?

— Нет.

— А я придумала.

Карп Степаныч поднялся на локоть и приготовился слушать. Но вместо посвящения в свои мысли Изида Ерофеевна сказала так:

— Все будет хорошо. День рождения будет. Да еще как все обернется хорошо. Это будет очень интересно! Ах, как все будут довольны! Давай скажу на ушко. — И она прошептала ему что-то так тихо, будто боялась, что их подслушают и перехватят секрет.

— Тут что-то... не то, — запротестовал сперва Карп Степаныч.

— То! Именно то! И не думай возражать. Я знаю людей лучше тебя. Это будет очень интересно!

А утром началась лихорадочная подготовка к вечеру.

Приглашены три нужных человека.

Вечером стали собираться гости.

Первым вошел Чернохаров и сказал:

— Приветствую вас, дорогой! Приветствую вас, дорогая! И поздравляю вас и... гм... этого, именинника. Гм... — Он оглянулся по сторонам и, не увидев никого кроме, сказал еще раз: — Гм... — И сел за стол. Затем развернул журнал «Крокодил» и стал рассматривать картинки, слегка потряхивая животом, то есть улыбаясь.

— Насчет именинника, Ефим Тарасович, это сюрприз, — кокетливо сказала Изида Ерофеевна.

— Что ж... Интересно... Гм... — А рассмотревши бесцеремонно кругленькую и приятную фигуру хозяйки, еще раз повторил: — Гм...

И Изида Ерофеевна улыбнулась, потупив очи. У нее это получалось очень здорово!

Вторым вошел доцент Святохин. Скажем по душам: смирнейшая личность! Личико у него маленькое, остренькое и весьма скромненькое, с просвечивающим носиком и часто моргающими глазками. Он всегда улыбался и был в высшей степени почтительным везде и всегда. Рассказывают про него такое: когда воры потребовали у него на темной улице часы, он им сказал: «Будьте любезны! Я вас понимаю отлично и отношусь с уважением к личности. Пожалуйста!» На научных убеждениях Святохина мы остановимся несколько позже — не время и не место говорить о делах, когда люди пришли отдыхать. Итак, вторым вошел Святохин. Он шаркнул ножкой, подошел к хозяйке дома и поцеловал ручку. Затем по возможности крепче пожал руку хозяину, потом, наклонивши почтительно голову, чуть-чуть пожал руку Чернохарову, будто боясь причинить ему боль своей немощной ручечкой. И только после такой процедуры произнес тихо-тихо:

— Уважаемые Карп Степаныч и Изида Ерофеевна! Я весьма польщен приглашением. Поздравляю вас с именинником. И разрешите преподнести ему...

Изида Ерофеевна перебила его восклицанием:

— Ах, ах! Это после, после! — И, подморгнув ему, пояснила: — Здесь маленькая шутка. Игра в сюрприз.

— Не поним.., То есть будьте любезны! Пожалуйста!

Рассыпаться ему в вежливых выражениях не пришлось, так как вошел Столбоверстов. Это был сильный на вид и крепкий духом человек. Он был прям и высок фигурой, что сочеталось с прямотой характера и высокими принципами. Он не знал различия между инициативой и ловкачеством, напористостью и нахальством, а, смешав эти понятия в одно, шествовал по научному миру с вытянутым вперед указательным перстом, безапелляционно указуя им на противников науки. Но об этом опять же после. Личность Столбоверстова как профессора и как человека представляла следующее: брит кругом, кругл головой, сух, морщины не омрачали лица ни в одном месте, а глаза, будучи навыкате, казалось, видели и спереди, и сбоку, и чуть-чуть позади; голос — могучий бас, но говорил Столбоверстов сдержанно, тихо, как в пустую бочку; очков не носил, что тоже представляло собой исключение из правил в научном мире; не стар — лет сорока пяти, что тоже исключение, так как быть профессором в сорок пять лет — явление не очень частое: в этом возрасте подавляющее большинство ходит в доцентах. Здесь он далеко-далеко обогнал Карпа Степаныча Карлюка, но сочувствовал ему и помогал достигать.

Столбоверстов не спеша поцеловал руку у Изиды Ерофеевны, пожал слегка руки мужчинам, отчего бедняга Святохин чуть не взвыл, но стерпел и сказал:

— Будьте любезны! Пожалуйста!

— Поздравляю! Поздравляю! — пробубнил вошедший. — Рад. Рад. Рад увидеться. Очень рад.

В общем все гости пришли точно к назначенному

времени. Стол был накрыт заранее. По приглашению хозяйки все сели. Но гости обратили внимание на то, что один стул остался пустым.

— Кого нет? — спросил Чернохаров.

— Почему пустой? — ткнул пальцем в пустое место за столом Столбоверстов.

— Не обижаем ли мы кого-либо, садясь — простите! — заранее? — скромно осведомился Святохин.

Карп Степаныч ответил на все три вопроса разом:

— Вот.., Она руководит. Она и речь скажет. — И указал на супругу.

Изида Ерофеевна так старалась казаться симпатичной, так старалась, что буквально вылезала из собственной кожи. Она держала оба мизинца оттопыренными, вздрагивала плечами, поправляла на груди кофточку и обаятельно улыбалась, растягивая губы возможно шире, как это делают красавицы на фотографиях.

— Милые наши друзья! — начала Изида Ерофеевна, встав за столом. — Вы люди ученые, умные и занятые. И вам надо отдыхать. Встряхивать нервы. Я хочу, чтобы вам было весело. И мы придумали отметить необычный день рождения. — Тут она обвела всех чуть прищуренными глазами и сообщила главное: — Ровно тринадцать лет тому назад Карп Степаныч вступил в науку и прочными ногами стал топтать по ней дорогу. В тот день он стал кандидатом наук. Сегодня день рождения научного работника.

При этом умный старик Джон вскочил на стул позади хозяйки, повилял хвостом и с размаху лизнул Святохина в щеку.

— Ох! — воскликнул Святохин. Но немедленно поправился: — Пожалуйста! — И вежливенько кивнул головой хозяйке.

— Ну что ж! — гаркнул Столбоверстов. — Нальем

за рождение научного работника, дорогого Карпа Степаныча.

— Пожалуйста! — откликнулся Свяхотин на призыв коллеги. — За рождение научного работника! Это весьма оригинально. Каждый ученый должен бы отмечать день своего научного рождения.

Тем временем Изида Ерофеевна уже налила стаканы, и гости выпили, поддержав тост. Сперва молчали, ели, а потом «пропустили» по второй, потом — по третьей и так далее. И вдруг Святохин вежливо, но уже чрезвычайно весело спросил у всех:

— Друзья! А как же подарки? Мы ведь думали...

— Любой подарок приятен от таких дорогих гостей, — сказал Карп Степаныч.

— Да! — воскликнул Столбоверстов. — Поздравляю! — Он положил перед Карпом Степанычем коробку шоколадных конфет и фарфоровую статуэтку балерины.

— Приветствую! — пискнул Святохин. И преподнес тоже коробку конфет.

— Поздравляю вас, дорогой! — сказал Чернохаров и подарил фигурку шелковистой собачки. — Я лично тоже люблю собак. Гм...

— За рождение кандидата! — вскричал басом Столбоверстов, поднимая стакан.

— За Карпа Степаныча! — пропищал Святохин.

— За рождение того, кто хозяин стола! — разразился тостом Чернохаров. — За вторжение его в науку.

Карп Степаныч кланялся. Изида Ерофеевна тоже кланялась, улыбалась и гладила Джона, сидевшего позади нее.

— Пей, Карпо! — кричал Столбоверстов панибратски.

— За науку и для науки! — чуть не плача, вопил Святохин.

— Сам-то пей до дна! — обращался Чернохаров к Карпу Степанычу.

И Карп Степаныч исполнял желание учителя: пил до дна так, что забыл даже говорить о деле, о завтрашнем предварительном сообщении. Наоборот, запел «Шумел камыш». Все подхватили и тоже пели по мере своих талантов в вокальном искусстве. Джон подвывал. Все шло хорошо и весело. Святохин сыграл даже дробь на двух ложках (к чему у него был большой талант), Чернохаров сплясал, не вставая со стула и выделывая кадрили ногами под столом. Изида Ерофеевна спела «Ой, кумушка».

— Нет! До чего же приятно!—умилился Святохин.— Истинное наслаждение! Умилительно! Душа моя поет вместе с вами, дорогая Изида Ерофеевна!

— Спасибо вам, милая! Спасибо и за вечер и за песни! Спасибо! — восторгался Столбоверстов, обнимая хозяйку за талию и не обращая внимания на ревнивое ворчание Джона.

— Ух! Гады! — вдруг рявкнул Чернохаров и ударил кулаком по столу так, что подпрыгнули рюмки. — Засоряют науку всяким дерьмом!

— Это вы... про кого? — спросил оторопевший Святохин.

— О чем вы? — насторожился Столбоверстов, стараясь сквозь хмель понять.

— Ефим Тарасович! — воскликнул Карп Степаныч.

— Ой, ой! Дорогой мой! — умильно воскликнула Изида Ерофеевна и обняла рядом сидевшего Чернохарова. — Что с вами?

— Противников науки надо не просто выгонять, а... сажать! Сажать! В тюрьму! В тюрьму-у! — И Чернохаров выкрикнул несколько бранных, весьма крепких слов.

Вполне возможно, что после этого и завязался бы ученый разговор о науке и предварительном сообщении Карлюка, так как Чернохарова, может быть, все и успокоили бы, согласившись с его вескими доводами, выразившимися в разбитии трех тарелок. Так что разговор о науке мог быть. Но тут произошло совершенно неожиданное и никем не планированное событие.

Когда Чернохаров ударил третью тарелку, Джон не выдержал: он рванул за рукав буйного профессора так сильно, что вырвал клок материи шириной в ладонь.

Все встали как по команде.

Чернохаров, покачиваясь, подошел к собаке, схватил ее за шиворот, поднял в воздух и зарычал:

— У, гадина! Св-волочь! — Он поволок Джона за дверь, потом на улицу, а там трепал несчастного пса и кричал: — Я ученый, черт возьми! Соб-бака и наука! На-у-ка-а! Карлюк, мой ученик, позорит науку! Ненавижу собак!

Хозяин и гости выскочили на улицу, уговаривая взбунтовавшегося вновь Чернохарова.

А когда кое-как развезли гостей на такси по домам, Карп Степаныч обхватил голову руками и, поникнув на стол, простонал:

— Я... так... и знал. Знал, что-то получится. Что мы наделали!

— Карик! — плакала Изида Ерофеевна. — Карик! — И ничего не могла досказать.

— Я знал: тринадцать — чертова цифра! Так и есть. И как это я не догадался?!

— Карик! — рыдала супруга. — Все обойдется, Карик! — Она, всхлипывая, предложила: — Может быть, нам второй раз сделать день рождения?

— Второй раз — это уже не рождение!! — взревел Карп Степаныч и замахнулся кулаком, будучи весьма хмельным. — Ух!

Вот тут-то и проснулось самолюбие жены. Она уперла руки в бока, сжала зубки и, наступая на мужа, зачастила:

— Ах ты мразь! Дурень безмозглый! Ты перед кем рассыпаешься? Кто они? Они сами пролезли в науку через черный ход, а потом растолкали других и изображают. И пусть! Пусть Джон им выложил свои соображения. Не боюсь! К черту! Плевать я хотела на твоего Чертохарова! — визжала она, нарочно уродуя фамилию уважаемого учителя.

Карп Степаныч сперва опешил от такой пулеметной очереди, но потом со злобой сказал:

— Как ты была баба, так и есть баба. Тьфу! — Он плюнул в сторону.

— Что-о?! А ну повтори, безмозглый! — Изида Ерофеевна вдруг начала молотить мужа кулаками, потом книжкой по голове, так что он и руки ее не успевал отвести, бедный.

Потом Карп Степаныч уснул, так и не раздеваясь.

А ночью Изида Ерофеевна тихонько раздела его, накрыла одеялом и плакала. Плакала над ним, как над покойником. Потом тихонько звала, крадучись по комнате:

— Джон! Джон! Где ты? Замучила нас с тобой чертова наука. Господи, неужели же тебе трудно сделать Карпа Степаныча доктором? Ты все можешь—сделай! — молилась она на ходу и снова звала: — Джон! Где ты?

Бедный Джон! Он забился в угол, вздрагивая всем телом. Вызвать его оттуда не было никакой возможности, так напугал его Чернохаров.

Настало утро. Карп Степаныч встал поздно, в одиннадцать часов дня. Голова была тяжелая, на душе было скверно — так скверно, будто сам черт ходил там своими когтистыми лапами. Карп Степаныч умылся. Молча

сел пить кофе. Супруга тоже молчала. Неизвестно, чем бы вся эта тягость кончилась, если бы неожиданно не вошел — кто бы вы думали? — вошел Чернохаров в сопровождении Святохина.

Карп Степаныч встал и согнулся в поклоне. Изида Ерофеевна растерялась. А Чернохаров сказал:

— Приветствую вас, дорогой!.. Вчера я... Гм... Накуролесил. Уж как-нибудь... Гм... Извините.

— Дорогой Ефим Тарасович! — воскликнул Карп Степаныч и обнял Чернохарова. — Что вы, что вы! Я, только я считаю себя виноватым. Только я!

— Говорил вам когда-то: не надо мне... Гм... Давать много питья. Гм...

— Все хорошо, — шептал Святохин. — Все хорошо. Ну, выпили, ну, отдохнули. Кто ее не пьет? Все пьют. С кем грех не бывает? Бывает, простите, со всеми. Будьте лю...

— Ну как же? — перебил его Чернохаров, обращаясь все так же к Карлюку. — Мир?

— Мир! — патетически воскликнул Карп Степаныч, тронутый великодушием учителя.

— И ничего не было? Гм...

— Ничего не было. И не вы кричали на улице, а кто-то другой.

— Я, например, ничего не слышал, — подтвердил Святохин.

— Ну.., пойду... Желаю сегодня успеха. Гм...

— А вы будете там? — спросил Карп Степаныч Чернохарова, бросив взгляд и на Святохина.

— Обязательно, — сказали оба. — До шести!

— До шести вечера! — попрощался и Карп Степаныч. — Надеюсь.

И ушли.

Изида Ерофеевна бросилась к мужу в объятия и говорила:

— Вот видишь, как все обошлось. Я говорила?

— Говорила. Умница. Даже лучше сделалось, чем мы хотели.

— Как так?

— Да ведь он же чувствует себя в какой-то степени виноватым. Понимаешь?

Карп Степаныч тут же, немедленно, сел за стол и записал еще одно правило защиты диссертации:

«Если намеченный тобою официальный оппонент чем-либо тебе обязан, или в чем-либо виноват перед тобою и тяготится этим, или (что то же) чем-либо напакостил тебе и не знает, как искупить вину, то бери его обязательно: сделает».

День прошел хорошо. А к шести Карп Степаныч пошел делать сообщение. И все-таки было очень боязно: как-никак предстояло сообщение об исследованиях материалов и сводок. Это — начало докторской диссертации. Пробный камень!

И когда все эти опасения Карп Степаныч высказал Изиде Ерофеевне перед выходом из квартиры, супруга произнесла:

— Господи, благослови!



ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

СМОТРЯ С ЗАТЫЛКА, ИЛИ РАЗНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ НАУКЕ

В тот самый день, когда Карлюку предстояло делать сообщение, в городе появился Филипп Иванович Егоров. Он вернулся из вторичной поездки в Москву, куда ездил по вызову ЦК партии.

Было пять часов дня. С вокзала немедля направился к профессору Масловскому. Дома его не оказалось. Мария Степановна сообщила Филиппу Ивановичу, что профессор ушел на научный совет — слушать доклад Карлюка. Недолго думая, Филипп Иванович отправился туда же, оставив у Марии Степановны чемоданчик.

Филипп Иванович чуть-чуть опоздал — заседание ученых началось. Он остановился перед дверью малого зала и прочитал объявление, прикрепленное кнопками:

«Сегодня состоится очередное собрание научных работников, на котором кандидат с/х наук Карлюк К. С. сделает предварительное сообщение о дополнительных исследованиях в области кормодобывания.

Приглашаются все научные работники и все желающие.

Начало в 18 часов».

«Значит, можно и мне», — подумал Филипп Иванович и вошел в зал. Свободное место осталось в самом заднем ряду. Он тихо, на цыпочках, прошел туда и сел. На соседнем с ним стуле сидел... Ираклий Кирьянович Подсушка и по обыкновению поедал глазами кафедру, откуда докладывал его непосредственный начальник, Карлюк Карп Степаныч. Как мы уже сообщали, товарищ Подсушка от рождения и до настоящих дней был тощ. Посему шея его отстояла от воротника на весьма почтительном расстоянии и поворачивалась бесшумно по первому требованию начальства. Такова была у него конструкция тела. Подсушка слушал глубокомысленно.

Карп Степаныч читал интересное для производства сообщение: «К вопросу о проблемах замены овса тыквой и помидорами для скармливания конскому поголовью и расчеты потребности тыквопомидоропродукции для центрально-черноземной зоны в кормовых единицах». Все шло как полагается. Стояла тишина.

Поскольку Филипп Иванович очутился в самом заднем ряду, перед ним во множестве расположились затылки ученых. Филипп Иванович подумал в удивлении: «Какие бывают затылки! Громадный ассортимент! Смотришь человеку в затылок и толком не знаешь, какой у него там ум и есть ли там ум вообще». Подобные не очень-то уж серьезные мысли завладели им полностью. Так иногда бывает, когда неудобно засыпать, как говорится, с ходу. О проблемах тыквозамены он еще не слышал ни разу, но особого интереса к этой теме не проявил. И рассматривал затылки. Конечно, подавляющее большинство затылков были обыкновенными, но были здесь и особые, выдающиеся. Так Филипп Иванович обвел взглядом всех и наконец остановился на отдельных личностях, на тех, что знал отлично, и стал их рассматривать с тыловой стороны. Из множества голов он отметил только пять. Зато каких!

У ученого Чернохарова затылок очень похож на печной чугун: бей кочергой — не прошибешь! Филипп Иванович очень хорошо знал, что в одной стороне этой головы уместилась вся травопольная система земледелия целиком, а вторая половина ничем не замещена. Именно поэтому Чернохаров не признавал никаких сельскохозяйственных культур, кроме трав.

У профессора Плевелухина, наоборот, затылок изрезан мелкими складками. Он выдвинул лозунг: «Только пары спасут лицо земли нашей! Вперед-назад к трехполью!» В общем, никакой середины Чернохаров и Плевелухин не признавали. По сему случаю все подчиненные этих ученых и все диссертанты и даже студенты шарахались от одного профессора к другому, стукаясь иной раз лбами, а выходя из института, толком не знали — что же, собственно, осталось в голове. Как известно, мыслительная способность битого лба резко понижается, и человек в таком случае успокаивается либо на

одной шишке, либо на второй, смотря на стечению обстоятельств.

На затылке доцента Святохина — смирнейшего из ученых — Филипп Иванович не стал долго задерживаться: голова его была настолько свежа и чиста, что ни единой волосинки на ней уже не осталось. Это очень уважительный человек, соглашающийся со всеми, в том числе и с Плевелухиным и Чернохаровым одновременно. Очень приятный человек! Его лба никогда никто и нигде не бил, и он достиг научных степеней без особых волнений. О лысине Святохина, вообще-то говоря, ходили разные слухи в научном мире. Одни говорили, что ему за правду, выражающуюся в особой почтительности к авторитетам, бог головы прибавил; другие, наоборот, говорили, что пустой шалаш и крыть нечего. Филипп Иванович в данном случае стал на принципиальную точку зрения самого Святохина и в вопросе оценки его лысины решил: «Вероятно, правы и те и другие».

Больше других остановил внимание затылок доктора сельскохозяйственных наук Столбоверстова. Редкие коротенькие щетинки-шипики на бритой голове создавали такое впечатление, будто весь затылок усижен мушками дрозофиллами, о коих он успешно когда-то защитил докторскую диссертацию и достиг всего, чего следует достигать в таких случаях. А с очень глупой головой это, конечно, невозможно. Взять хотя бы его карьеру. На «кариотипической структуре мушки дрозофиллы» он сидел прочно несколько лет подряд. Но когда понял, что ветер шевелит волосы не с той стороны (тогда у него еще был редкий пушок на голове), он ощетинился, и на затылке появились короткие шипы. А что означает «ощетинился» на языке такого ученого? А это значит, что он проклял несчастную малютку, мушку дрозофиллу, не выполнил клятвенного обещания поставить ей памятник, отказался от нее публично,

признал ее главным тормозом в науке, обругал черным словом, как самую обыкновенную поганую зеленую муху. И стал после этого называть всех противников своего нового убеждения менделистами, или морганистами, или менделистами-морганистами, или просто врагами прогресса. Зато он получил четвертое место — по совместительству. Да, он не глуп! Указующий перст его еще не раз ткнет кого-нибудь из молодых или строптивых старых, и он произнесет безапелляционно и неукоснительно: «менделист!» или какое-либо новое слово, которое вполне может народиться в научном лексиконе. И горе тому, кто начнет мыслить не так, как думает Столбоверстов, ибо он тоже не знал спорной середины в науке, а шарахался от одного авторитета к другому вот уже дважды. Где-то мы увидим его в третий раз?! Тем не менее лба своего он не портил и ходил по земле без шишек на мыслительной части тела. Над затылком его стоило призадуматься. Это настоящая тыльная сторона настоящей науки! Дунь на него иным ветром — и все: запах и цвет всей личности меняется на глазах.

И еще один удивительный по своей конструкции затылок задержал внимание Филиппа Ивановича. Он как бы обрублен, то есть фактически самого затылка-то и нет, а есть место, где полагается быть затылку. Место это — бритое или лысое, не поймешь. Голова эта принадлежала Барханову — человеку с некоторым именем, известному и даже не совсем действительному члену Академии сельскохозяйственных наук. А что означает звание «не совсем действительный член академии»? Объясню. Перед выборами он разослал множество писем знакомым ученым. В этих письмах он считал себя вполне достойным избрания в члены академии и просил поддержать его кандидатуру; но так как все же его не выбрали в члены, то за ним так и осталось звание

«не совсем действительного». Барханов ничего не открыл сам, но до сих пор ни разу не согласился с чужим открытием. Он немилосердно критиковал все, на что направлял свой нос. Его все боялись и обращались с ним в пределах научной вежливости.

Таким манером Филипп Иванович пробовал отыскать еще подобные затылки, но не нашел больше ни одного хотя бы отдаленно похожего на какой-либо из тех пяти затылков, что рассматривал.

Потом Филипп Иванович долго смотрел на профессора Масловского. Седые, ставшие за последние годы совсем белыми, густые волосы зачесаны назад; затылок широкий, как говорят — двухмакушечный, на котором волосы никогда не лежат спокойно, а все упрямо топорщатся. Казалось, эта голова, слегка наклоненная вперед, всегда готова к драке. Любил эту голову Филипп Иванович. Очень любил! И сейчас он представил себе сосредоточенный и нахмуренный взгляд Масловского и жесткие руки, сжатые в кулаки. «Будет и сегодня драться!» — подумал он.

Но что это? Профессор Масловский передернул плечами и поежился, будто к его спине прикасался червяк. Вероятно, сквозь дрему и до его слуха доходили отрывки речи Карпа Степаныча. Это движение заставило и Филиппа Ивановича вслушаться в речь докладчика, и ему сразу стало скучно. Потянуло в сон. И он занял обычную позицию спящего на заседании ученого, а именно: наморщил лоб, опустил в задумчивости ресницы, выпрямился, подставил кулак под подбородок и задремал. Со стороны казалось, что он глубоко задумался, а фактически он добросовестно пытался дремать. Все нормально мыслящие на подобных докладах спали таким же образом еще и раньше Филиппа Ивановича. И это никогда не считалось зазорным, как явление обычное.

Но не спал Ираклий Кирьянович Подсушка. Он усиленно пытался думать. Даже более того: мучительно пытался думать. Что же заставило его думать в такой момент, когда вообще можно не думать ни о чем? Оказывается, это — дело случая. Кто-то из ревнителей науки задал спросонья докладчику бесцеремонный вопрос:

— Какой сорняк порождает тыква?

Карп Степаныч Карлюк отвлекся от сообщения и, поскольку вопрос касался его темы, ответил так:

— Если мы уверены, что овес порождает овсюг, то вполне можем быть уверены, что кормовая тыква порождает сорняк. Какой? Наукой еще не достигнуто. Но почему бы и тыкве как заменителю овса априори не родить что-либо подобное или в этом роде? В этом вопросе открыты широчайшие горизонты в науке, и этот вопрос необходимо изучить, что представляет непосредственный интерес для производства, так как в борьбе с проникновением вредного влияния менделизма это будет еще одним плюсом... — И Карп Степаныч был удовлетворен собственным ответом настолько, что внутренне улыбнулся. (Внешне он улыбался очень редко.)

Неожиданно Масловский встал. Он попросил слова и сердито заговорил:

— Это профанация исследований академика Лысенко! Вопрос о происхождении новых видов — серьезный, весьма важный вопрос агробиологии. Есть много фактов, благодаря которым возможно предположить, что гипотезе Лысенко принадлежит будущность. Может быть, со временем что-то из этой гипотезы будет исключено в результате последующих исследований и фактов. И это вполне естественно, ибо любое исследование может не только утверждать предположения или подтверждать чьи-то мысли, но может и отрицать. Да, отрицать. Многие не согласны с Лысенко. Наука развивается в противоположностях, в спорах. Вот так... Люди же, подобные

докладчику, готовы всегда любую научную идею, любую гипотезу сразу же превратить в инструкцию. Карлюк превратил в инструкцию гипотезу о происхождении новых видов. Сам Лысенко никогда не утверждал, что сорняки рождаются от всех культурных растений. Вы, Карлюк, не понимаете того, что вы опошляете науку.

Карп Степаныч, прежде чем продолжать сообщение, некоторое время стоял, выпучив глаза. А Масловский при общем молчании иронически заключил:

— Можете продолжать.

Вот что заставило некоторых отвлечься от дремы. В зале зашевелились, выражая свое сомнение в ответе Карлюка. Вот что и заставило думать Ираклия Кирьяновича.

Мы уже знаем и о том, что он не принадлежал ни к кандидатам, ни к докторам, а был наукоруком по призванию. Это обстоятельство заставило его продумывать кое-что, для того чтобы вовремя успевать менять течение мыслей, убеждений и проблем для улавливания момента в научной ситуации. А для этого требуется тоже большое искусство.

И вот сейчас ему, Подсушке, почему-то вспомнились слова священного библейского писания, каковое он постигал еще в гимназии. Думал он так:

«Авраам роди Исаака. Исаак роди Иакова. А Иаков в свою очередь роди... Кого же роди Иаков? Забыл. Неважно: хрен с ним, с Иаковом. Нет, постой, постой... Кажется, есть какая-то связь... Значит, овес роди овсюг. Так. Понятно. А кого роди овсюг? Ведь и он кого-нибудь роди обязательно... Пшеница роди рожь, а рожь, обратно, роди пшеницу — это понятно: и тот роди и тот роди... Но кого же роди овсюг?..»

Он, по возможности незаметно, все-таки высунул кончик языка, но... ответа все равно не нашел. Он лишь

искал себе объяснение, чтобы при случае не ударить лицом в грязь и объяснить другому. Сам же он действительно верил совершенно искренне в то, что сорняки рождаются от всех культурных растений. Верил просто, как верит истый христианин в то, что отрок в пещи огненной хотя и должен был сгореть в пепел, не сгорел все-таки и даже не потерял волос. Верил Ираклий Кирьянович и в то, что яровую пшеницу надо сеять именно там, где она не родится: важно — не урожай, а важно, чтобы она сеялась по пласту многолетних трав и вне зависимости от местонахождения этих трав, даже в Архангельске или на Новой Земле.

После воспоминания о библейских предках мысли все-таки не покинули Подсушку. Он продолжал думать так:

«Что это за наука у Масловского?.. «Гипотеза», «отрицание», «не все растения рождают сорняки»... Надо же! Как это так — не все? Вот у Карпа Степаныча действительно наука: если тыква не родила пока сорняки, то родит вскоре. «Априори» — обязательно родит! Раз Карп Степаныч сказал — родит, то, значит, родит».

И это была глубочайшая вера в науку. Так Подсушке легче. А главное — думать гораздо меньше придется.

Филипп Иванович все-таки не уснул. Он украдкой посматривал на соседа, Подсушку, задумавшегося над вопросами науки. И Филиппу Ивановичу пришла мысль:

«Сколько таких верующих помогали, помогают и — кто знает! — будут помогать двигать вперед генетику, селекцию, агротехнику, животноводство! Благо тому и бремя того легко, кто верует в непогрешимость инструкций и приказов наукоруков».

А подумав так, Филипп Иванович смотрел на самого докладчика, Карпа Степаныча Карлюка, каковой, как нам известно, был, в противоположность Подсушке, настолько кругл и толст, насколько может быть круглым

и толстым человек. Сейчас он казался еще более толстым. До сих пор Филипп Иванович знал, что Карлюк всегда умел выглядеть весьма ученым. Теперь, казалось, вырос он еще больше. До сих пор Филипп Иванович знал, что Карлюк в свое время соискал кандидатскую степень. Теперь же было ясно, что начинается соискание докторской степени. Сейчас он читал уже заключение своего предварительного научного сообщения:

— Итак, много- и глубокоуважаемые коллеги! Роль овса в балансе кормопроизводства практически сводится к нулю, о чем свидетельствуют сводки, собранные мною по ряду окружающих колхозов. Лошадь на новом этапе развития сельскохозяйственной науки не желает есть овса. Она желает есть тыкву, о чем свидетельствуют упрямые факты, которых не буду приводить ввиду их ясности. Оговорюсь, что эксперименты скармливания зеленых помидоров конскому молодняку еще не закончены, а редьку лошадь отвергает начисто. Об этом я заявляю со всей научной смелостью и решительностью — редьку лошадь отвергает. Но...— В этом месте он вытер лоб платком, снял очки и, держа их двумя пальчиками в полусогнутой руке, постучал локтем по своему пышному боку. — Но с точки зрения тыквозамены уже ясно теперь, что: а) производство овса необходимо оставить на минимальном уровне; б) этот уровень должен соответствовать такой структуре площадей овса, чтобы обеспечить полностью выпуск овсяных хлопьев для меню грудных младенцев, а равно и отнимаемых от груди детей. И все. Мы, таким образом, можем расширить значительно площадь яровой пшеницы во всех областях, от Черного до Белого морей, с одновременным поднятием уровня тыквы для конепоголовья. И тогда лошадь скажет нам с вами, дорогие коллеги: «Спасибо вам, товарищи!» Если к этому добавить последние данные науки о кормовых качествах рогоза в сметане (о чем

сообщалось в печати), то наши выводы полностью соответствуют новому направлению сельскохозяйственного производства. Замечу: говоря о рогозе, я имею в виду оба рогоза: Тифа ангустифолиа и Тифа латифолиа. Весь этот рогоз скотина пожирает навалом даже и в том случае, если ей не давали корма только четыре-пять дней.

Карп Степаныч закончил доклад. И вдруг...

— Ерунда! — крикнул на весь зал Филипп Иванович, нарушив все нормы внутринаучной вежливости.

Все повернули к нему головы. А сидевший с ним рядом Подсушка вздрогнул от страха, зашипел, как горячая сковорода, на которую плеснули холодную воду, и отодвинулся подальше.

Филипп Иванович встал. Он видел лица всех сразу — затылков уже не было. Были в подавляющем большинстве добрые люди. Он остановил взгляд на лице Масловского: умный, ободряющий и в то же время злой взгляд этого ученого одобрял его — они поняли друг друга. Много таких же искренних и умных глаз посмотрело на него одобрительно. Настолько много, что чернохаровы и святохины сидели среди них корявыми сорняками, похожими на сухую полынь среди сочного огорода.

— Прошу слова! — сказал Филипп Иванович громко и отчетливо. — Я больше не могу! Нельзя дольше терпеть! И...

— Что вы хотите этим сказать? — перебил его резким голосом Карп Степаныч, привыкший к тону многих председателей собраний, умеющих одной такой репликой осадить любого оратора, если он им не нравится.

— Я хочу сказать, товарищ Карлюк, прежде всего о том, чтобы вы меня не перебивали.

По залу прокатился шелест. В нем нетрудно было различить и одобрение и злость. А Филипп Иванович заговорил.

Ни Карп Степаныч, ни Ираклий Кирьянович не помнили толком, о чем говорил Егоров, — их ошарашили слова обвинения, которые он бросал прямо в лицо Карлюку, Чернохарову, Столбоверстову и иже с ними. Ираклий Кирьянович находился-то рядом с Филиппом Ивановичем, и на них обоих, как ему казалось, смотрели все сразу. Он стонал, видя, что буря нарастает. Сейчас, вот-вот сейчас, думалось ему, этот колхозный агроном в кирзовых сапогах начнет добираться и до него, товарища Подсушки.

— Сегодня мы слышали весьма «интересный» доклад-сообщение, — говорил Филипп Иванович иронически. — Он интересен тем, что всем содержанием доказывает одно: в сельскохозяйственной науке при желании можно из блохи выкроить голенища. (По залу прокатился смешок.) Сегодняшнее сообщение — продолжение все той же линии...

— Грубо и недостойно собрания ученых! — бросил реплику Столбоверстов.

Но Филипп Иванович, не обратив внимания на это, продолжал:

— Да, продолжение все той же линии... Но посмотрим внимательно в село, в поле, в колхозы, для которых якобы делаются подобные диссертации. Сельское хозяйство отстает, оно ждет — требует! — от науки помощи и вмешательства. А карлюки достигают званий на темах глупых и бесполезных.

Тут-то и вспотел Карп Степаныч. Но все-таки нашел силы перебить оратора. Он собрал весь свой дух, сделался внешне спокойным, почесал кончик носа оглобелькой очков и встал. Перебивая оратора, обратился к собранию:

— Кто перед вами выступает? Перед вами выступает исключенный из партии. Он уволен с работы. — Повернувшись к Егорову и надев очки, Карлюк строго

и повелительно сказал: — Прекратите клеветать! Не то место выбрали! — И, забыв, что он не председатель собрания, обратился к присутствующим: — Кто имеет слово?

Все молчали.

В напряженной тишине Филипп Иванович говорил:

— Нет! Не получится, Карлюк! Я не замолчу, пока не скажу. Я знаю, почему вы меня боитесь. И вы знаете! — Филипп Иванович смотрел прямо на Карлюка и продолжал: — Предстоит трудная работа по очищению сельского хозяйства от болтунов и невежд в мантиях ученых, по очищению науки от бездумности, своекорыстия и шаблона в агротехнике и животноводстве...

Карп Степаныч опешил. Он не понимал бурных аплодисментов, раздавшихся после речи агронома Егорова. Он не слышал того, что говорил Чернохаров, спасая ученика, не заметил, как по инициативе того же Чернохарова собрание было перенесено на неопределенное время «ввиду грубых и недостойных выпадов против науки». Не заметил Карп Степаныч, как разошлись все и зал остался пустым. Он все сидел и сидел. Наконец он заметил в заднем ряду единственного человека. То был Подсушка. Ираклий Кирьянович не мог стронуться с места, он был не в силах возвратиться к жизни и шептал:

— Авраам роди Исаака, Исаак роди Иакова...

— Вы? — спросил глухим голосом Карп Степаныч.

Подсушка очнулся и ответил, глядя в упор на начальника:

— Я. Так точно — я. Как же... теперь?

— Вот так... — Карлюк поник головой.

Тут вошла уборщица и сказала:

— Ну-у, раскисли! Выходите. Мне порядок наводить надо.

— Извиняюсь! — сказал Подсушка.

— Приветствую вас! — сказал Карлюк.

— Да вы что — или рехнулись? — спросила уборщица. — Провалилась диссертация, что ли?.. Бывает. Я на своем веку не такое видала. Водой отливали одного, потом пол подтирала целый час. Ну, уходите, уходите, — уже добродушно выпроваживала она их.

Оба уныло поплелись вон, поддерживая друг друга под руки. Слишком толстый и слишком тонкий еле переставляли непослушные ноги. Много страданий доставляет наука!

...А Филипп Иванович с Герасимом Ильичом Масловским пришли на квартиру. Вошли. Повесили головные уборы на вешалку. Встретились глазами. Посмотрели. И вдруг рывком обняли друг друга.

Потом Герасим Ильич спросил:

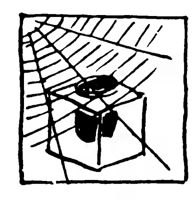
— Ну как? Все сдали?

— Сдал. Сказали — скоро разберут.

— Будем ждать.

— Ждать.

— Ждать и надеяться!



ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

ПЕРЕВЕРТНИ, ПУТАНЫЕ КАРТЫ И НОВОЕ ПОПРИЩЕ КАРЛЮКА

А дальше пошли интересные события — и печальные и веселые.

Ираклий Кирьянович заболел расстройством нервной системы и несколько дней не выходил на работу. Карп

Степаныч хотя и похудел малость, но искал выхода из создавшегося положения. Думал.

Так прошло два месяца.

И вот однажды Карп Степаныч получил записку от Чернохарова. Эту записку он немедленно подшил в «Личное дело». А написано в ней было так:

«Возвратился из Москвы Столбоверстов. Сегодня вечером он будет у меня. Приходите. Дело серьезное. Жду в десять.

Ч.»

Карп Степаныч пришел ровно в десять, почти одновременно со Столбоверстовым.

— Приветствую вас, дорогие мои! Приветствую! — встретил их хозяин.

Они сели за стол, за чашку чая. Чернохаров начал:

— Мы с удовольствием послушаем сообщение... Гм... Надеюсь, будем откровенны. Гм...

— Что думает Москва? — спросил Карп Степаныч.

— Да. Москва думает, — в задумчивости пробубнил Столбоверстов, помешивая ложкой в стакане. — Главные устои сельскохозяйственной науки пересмотрены... Вильямс ошибался. Следовательно, ошибались и мы. Травы — под сомнением. Упор на паропропашные севообороты.

— Значит, признавать ошибку? — поспешно спросил Карлюк.

— Нельзя, — категорически заявил Чернохаров.

— Но и в бездействии быть невозможно. Нужно принять меры, — возразил Столбоверстов.

— И что же вы думаете практически? — спросил ободренный Карлюк.

Столбоверстов ответил:

— Думаю, пока не получены указания сверху, мы уже должны...

— Перехватить? — спросил Карлюк.

— Не перехватить, а перестроиться, то есть...

— Вот именно. Как бы «не перехватить»... лишнего. Гм... — перебил его Чернохаров. — Как бы не попутать карты... Гм...

— А что бы вы предложили? — спросил Столбоверстов.

— Надо выступить в печати.

— Именно так. Выступить, пока не перехватил Масловский.

— И ликвидировать полностью все травы при институте. Все! Гм... — дополнил свою рекомендацию Чернохаров.

Все трое согласились к концу беседы: надо выступить в печати и ликвидировать травы на всех полях института. Так они и перестроили свои многолетние убеждения за один вечер. И сразу же приступили к коллективному сочинению статьи для областной газеты.

Через две недели в газете появилась подвальная статья «Система земледелия на черноземах» за подписью трех: Чернохарова, Столбоверстова и Карлюка. В этой статье обстоятельно доказывалось на материалах института, что единственно правильная система земледелия — паровая, что профессор Плевелухин прав, ратуя за паропропашную систему земледелия. В статье ученые писали: «Честно заявляем, что учение Вильямса тормозило практику». Получилась очень сильная статья! Смелая, обстоятельная, вполне соответствующая ветру, подувшему с высокогорных вершин науки. Ясно, направление изменилось.

Но внешне Столбоверстову измениться уже не удалось. В свое время Столбоверстов стриг голову «под Менделя», потом расчесывал «под Лысенко», потом — «под Мальцева», теперь он очень желал бы иметь прическу под Прянишникова, но... был уже лысоват, с редкими торчащими шипиками. Впрочем, это и не так уж важно. Важно внутреннее убеждение.

Карлюк энергично перестраивал тематику своего учреждения.

Чернохаров упорно говорил студентам:

— Думать надо, товарищи!.. Гм... Думать. И тогда... Гм... Собственные ошибки вы сможете использовать на пользу народа. Гм... Думать и думать.

Триумвират ученых перестроился коренным образом. Но травы п о к а не трогали: а вдруг ветер переменится!

Срочно закладывались опыты для подтверждения пропашной системы, откапывались из архивов данные старых опытных станций, выбирались нужные для перестройки материалы и обобщались. Карлюк денно и нощно сидел над бумагами (к чему у него был выдающийся талант). Кажется, он уже решил изменить тему будущей диссертации согласно моменту. Все шло хорошо и быстро. Думалось, все карты разложены правильно.

Но произошла неприятность.

Егоров у себя в колхозе прочитал в областной газете статью «могучей тройки». Он вскипел, побежал к Николаю Петровичу Галкину и, сунув ему газету, закричал:

— Перевертни! Блудословы! Они снова будут «руководить» сельским хозяйством! К черту! Не могу!

— А ты утихомирься. Подумай. И напиши с в о ю статью, — советовал Николай Петрович.

Дома повторилось то же самое. Только те же слова Егоров говорил жене Любе. Та успокаивала:

— Ну что тебе все надо? Что ты — хочешь вмешиваться в дела области?

— Хочу! Буду! Не могу молчать!

Ночью Филипп Иванович ворочался с боку на бок, кряхтел, что-то шептал и никак не мог уснуть. Тихонько встал, взял лампу, бумагу и чернила и ушел в клеть. Там он зажег огонь и стал писать.

Любовь Ивановна все это слышала, тихонько выходила во двор, видела огонь в клети и, вздыхая, шептала:

— Вот уж неугомонный. И так всю жизнь.

Филипп Иванович написал в газету такое письмо.

«Ответ Чернохарову и Столбоверстову.

Открытое письмо.

Недавно я прочел вашу статью «Система земледелия на черноземах». В этой статье вы признаете единственно правильной системой паровую, даже трехполье.

Неужели это писали вы, Чернохаров? Ученому Столбоверстову все это не страшно подписать, он уже третий раз меняет «убеждения». Но вы-то, вы, опубликовавший в той же газете год тому назад статью о «единственно правильной травопольной системе земледелия», неужели считаете за дураков всех тружеников сельского хозяйства и специалистов сельского хозяйства?

Вы были ярым «травопольщиком» всю свою сознательную «научную» жизнь. А теперь отреклись от того самого евангелия, которое сами же создали для нас, и строго наказывали нас за «неверие». Может быть, вы не подумали о том, сколько стоила ваша защита докторской диссертации и вся работа научно-исследовательского института? Нет, вы отлично знаете, что три миллиона в год затрачивал институт по вашим темам, а за пятнадцать лет это сорок пять миллионов! А что из этого получилось? Пшик! Чьи это деньги? Народные, деньги рабочих и колхозников. Почему вы не сказали раньше о том, что травы якобы не оправдали себя и у вас? Почему годами жили, присосавшись к теме, наплодивши «ученых», подобных Карлюку, зная, что ничего не выходит из исследований? Разве вы не знали, что несколько выпусков студентов сельскохозяйственных вузов воспитаны на данных вашего института, что студенты выходили с «единственно правильной» системой в голове и оказа-

лись теперь опустошенными, встречая на полях колхозов противоречие всему тому, чему их учили? И вы не посмеете ответить. Вам нечего ответить. Отвечу я, бывший когда-то вашим студентом.

Все это потому, что вы потеряли чувство гражданского долга, чувство чести. А теперь срочно «перестроили» научные «убеждения». Не было у вас никаких убеждений, нет их у вас и не будет в будущем, ибо вся ваша жизнь «большого» ученого — это жизнь подхалима, замаскировавшегося цитатами, чужими обобщениями и чужими же исследованиями.

Вы не поняли, что после вашей последней статьи вы оказались голым. Голый человек на вышке науки! Слезайте, голый человек! Если этого не случится, то вы придумаете еще какой-нибудь новый шаблон в земледелии, у вас будет новая маска и вы во что-то оденетесь, присосетесь, чего доброго, к Мальцеву или к Прянишникову при помощи опытного в этих делах Столбоверстова и «талантливого» ученика Карлюка.

Ф. Егоров».

Через неделю Филипп Иванович получил ответ из редакции: «...Ваше «Открытое письмо» не может быть опубликовано в газете... оно грубо... Газета не может выражаться таким языком... Редакция согласна с критикой ошибок Вильямса».

Сначала Филипп Иванович приуныл. Задумался. Не знал он никаких правил писания подобных писем, не знал и газетного языка, первый раз в жизни пришлось такое. Он думал: «А может быть, и действительно не полагается печатать такие письма? Но я-то не могу писать никаким другим языком».

Как это случилось, неизвестно, но письмо Егорова оказалось в обкоме партии. То ли редактор, несмотря на грубый тон письма, счел нужным посоветоваться в об-

коме, то ли заведующий сельскохозяйственным отделом газеты был не согласен с мнением редактора и продвинул дело по партийной линии, но факт остается фактом — письмо попало сначала в отдел сельского хозяйства, а потом уж к первому секретарю. Егоров об этом знать не знал и ведать не ведал. А в отделе сельского хозяйства один товарищ прочитал вслух своему близкому товарищу, не подозревая того, что поблизости сидел сухощавый скромный человек, обладающий весьма острым слухом. То был Ираклий Кирьянович Подсушка. Он прибыл в обком для того, чтобы передать отчет Карпа Степаныча о деятельности своего тихого учреждения. Именно в то время настойчиво заговорили о каких-то ненужных «карликовых» научных точках, а в связи с этим обком потребовал отчета и от Карлюка. Одним словом, Ираклий Кирьянович сумел-таки ознакомиться с содержанием письма Егорова. Но он сделал вид, будто его ничего абсолютно не интересует — он принес отчет, и только. Зато, выйдя на улицу, он заспешил и вскоре полушепотом передал Карлюку содержание письма в еще более густых красках, чем оно было в действительности.

— Боже мой! Какая подлость! — восклицал он, поднимая обе руки вверх. — Какая низость! Наклеветать в такое высокое место!

Карп Степаныч сопел. Пока только сопел. Состояния, близкого к обалдению, не было, но негодование, страх и уныние заполнили его благородную, мятущуюся сбоку науки душу.

Утром следующего дня в кабинет Чернохарова вошел Карлюк.

— Приветствую вас! — сказал он уныло.

— Приветствую вас, дорогой! — ответил Чернохаров, широко шагая из угла в угол и не остановившись при входе ученика. — Вы чем-то опечалены?

— Да,—ответил Карлюк и спросил в свою очередь:— А вы чем-то взволнованы?

— Извольте отвечать на вопрос. Гм...

— Вот, — сказал Карп Степаныч и положил на стол развернутые исписанные три листа. — Получена клевета, на вас лично. — Он хлопнул ладонью по бумаге. — Вот! Мне рассказали, а я восстановил по памяти.

— Кто рассказал? Когда рассказал? Куда клевета?

Карп Степаныч ответил на все три вопроса коротко:

— Подсушка. Вчера. В обком.

Чернохаров прочитал. Сел. Гмыкнул раза три подряд и произнес:

— Столбоверстова вызвать. Немедленно.

Через некоторое время, тяжело стуча каблуками, вошел Столбоверстов и, расплывшись в улыбке, поздоровался:

— Мое глубочайшее!

— Читайте, — сказал Чернохаров и сунул ему бумагу в руки, не ответив на приветствие.

Столбоверстов, прочитав, без обиняков стукнул кулачищем по столу и пробасил:

— Вот ч-чер-рт!

Все трое стали ходить по комнате. Чернохаров и Столбоверстов вышагивали по разным диагоналям кабинета, а Карлюк топтался в углу. При встрече на пересечении диагоналей оба профессора посматривали друг на друга вопросительно. Карлюк следил за обоими, стараясь уловить возможный исход их волнения. Его все больше и больше начинал сковывать страх. И он не очень смело спросил:

— А вдруг... он написал еще куда-то?

— Куда? — спросил Столбоверстов.

— Ну, скажем... в академию сельскохозяйственных наук, — ответил Карлюк.

— Не страшно, — резюмировал Чернохаров.

— А если письмо попадет к первому? — догадывался Карлюк снова.

— Что-о-о? — громыхнул басом Столбоверстов.

— Возможно, — подводил итоги Чернохаров. — Возможно. Гм...

— Привлечь за клевету,— внес предложение Столбоверстов. — Ненавижу клеветников! Всегда ненавижу. Я никогда не писал на противника, я всегда указывал прямо и открыто: вот! — И он ткнул перед собой указательным пальцем вперед.

— Его исключили из партии. Он подал в ЦК жалобу. Теперь, пока его не восстановили, и привлечь за клевету, — настойчиво убеждал Карлюк.

А Чернохаров молчал. Казалось, он не слушает остальных двух. Он соображал. Через некоторое время сказал:

— К секретарю обкома, лично. Гм... И прощупать отношение. А потом... Гм... Смотря по обстоятельствам, написать жалобу на клеветника... секретарю обкома лично. Гм...

— И в ЦК — пока не восстановлен. Напишем? — спросил Карлюк.

— Это решим потом. Потом. Все! Гм... Гм... — закончил беседу Чернохаров.

— Сегодня к секретарю? — спросил Столбоверстов.

— Да, — ответил Чернохаров.

— Все втроем пойдем?

— Нет. Один пойду... Вечерком соберемся здесь же. Гм... Будьте здоровы!

Секретарь обкома Натов, встав из-за стола, вышел навстречу Чернохарову, пожал ему руку и попросил сесть. После этого сел и сам.

— Я буду краток, — начал Чернохаров, заранее обдумав свою речь. — Ни у вас, ни у меня... гм... нет времени на длинные разговоры.

— Присоединяюсь, — добродушно сказал секретарь, повернувшись в кресле поудобнее и откинув ладонью седые волосы. Казалось, он тоже приготовился к краткому и точному разговору.

— Вот так, — продолжал Чернохаров. — Пришло время пересмотреть наши... гм... позиции в сельскохозяйственной науке. Гм... Ошибки учат.

— Вы о травопольной системе?

— И о травопольной... и о севооборотах, в частности. Гм...

— И что же вы предлагаете?

— Мы высказались в статье. Читали, надеюсь?

— Читал. Заметил — перестроились. Что же практически предложим колхозам по севооборотам?

— Видите ли... Этот вопрос предстоит изучить. Конечно, изучить пропашные севообороты.

— Простите! Пра-кти-чески: какие севообороты будем рекомендовать колхозам разных зон?

— До обобщений опыта нельзя вот так, сразу, рекомендовать... Гм... А опыта еще мало. Надо изучить...

— Прошу извинить! У нас так много опыта с неправильными севооборотами и уродованием полей, что пора бы уже иметь и практические рекомендации от науки. Как, а?

— Да. Пора.

— Пора, пора.

Вместо короткого разговора получилось нечто неудобное. Чернохаров ничего не мог предложить «практически», а секретарю обкома до зарезу надо было выправлять свистопляску с севооборотами. Но Чернохаров уже упустил момент для начала разговора о клевете. Он попробовал возобновить начатую «короткую речь»:

— И вот, когда пришло время пересмотреть наши позиции и... гм... изучить... Клеветники стараются.

— Они всегда стараются, — заметил Натов. — Что вы имеете в виду?

— Чудовищный вымысел больного и озлобленного воображения.

— Опять не понимаю, — будто удивился Натов.

— Значит, у вас лично письма нет. Оно находится в отделе сельского хозяйства. Гм... Письмо Егорова... Агронома Егорова.

— А-а, вот оно что! Каким же образом вы узнали об этом? А?

Нет, Чернохарова не собьешь таким вопросом, он не ошибется. Он подумал, тряхнул животом и ответил:

— Сам Егоров и разболтал. Бахвалиться-то он мастер. Хвастун. Гм...

Натов внимательно еще раз посмотрел на Чернохарова, чуть подумал тоже. Что-то лукавое блеснуло у него в глазах на какую-то долю секунды и сразу же скрылось, он что-то уже решил, но продолжал тем же тоном, серьезным, прямым и в то же время добродушным:

— Письмо это у меня. — При этих словах он достал его из стола. — Та-ак... Письмо, вот оно. Та-ак. А кто такой Егоров?

— Бывший агроном.

— Ах, вот что! А ну, что тут написано? Та-ак. — Он пробежал глазами письмо, выхватил вслух отдельные фразы: — «Три миллиона в год... А что из этого получилось? Пшик... Чьи это деньги... Народные деньги... Голый человек...» — Он оторвался от чтения и сказал: — Ну что ж, подумаем.

— Но это же клевета, — возразил Чернохаров.

— Подумаем, — еще раз повторил Натов.

— Но... Гм...

— Да. Конечно.

— Значит, вы ничего пока не предпримете?

— По какому вопросу?

— По этому письму?

— Да при чем же тут я? Вы — ученые, агрономы — можете спорить, ругаться, доказывать, а мне важно, что из этого получится для практики сельского хозяйства, для колхозов и совхозов. А в результате этих споров все, что полезно для социализма, мы будем поддерживать и поощрять. А?

— Но ведь письмо — оскорбление!

— Если вы считаете оскорблением, защищайтесь.

— Простите! Могу ли я рассчитывать на вашу защиту?

— От кого вас защищать?

— От этого клеветника.

— От бывшего колхозного агронома?

— Да.

— Ну, знаете, если у профессора не хватит сил доказать рядовому, бывшему агроному, то обком... обком тут ни при чем. А?

— Да.

Последнее «да» Чернохаров сказал нечаянно. У секретаря была такая привычка — заключать высказанную в разговоре фразу вопросительным «а?», что означало: «Поняли ли вы мою мысль? Согласны ли с ней или будете возражать?» Но Чернохаров потерялся от неудачного разговора и так прямо и ляпнул: «Да». Этим он отрезал путь к дальнейшему разговору и встал.

Когда Чернохаров вышел из кабинета, Натов еще раз прочитал письмо, уже без улыбки, и, нажав кнопку звонка, сказал вошедшему помощнику:

— Вызовите мне агронома Егорова из колхоза «Правда».

— По какому вопросу?

— По личному. По моему личному вопросу.

Натов остался один. Задумался. Но думать долго было некогда — ждали приема многие. Он только мысленно резюмировал краткие размышления: «Перестроить работу научных учреждений области. От этого зависит многое — будут лететь миллионы на ветер или не будут. Не наплел ли тут Егоров как обиженный?» А в записную книжку записал: «Лично и тщательно обследовать райком и колхозы Н-ского района». Он снова нажал кнопку и сказал в открывшуюся дверь:

— Следующий.

А вечером у Чернохарова собрался триумвират. Чернохаров точно и лаконично передал разговор с секретарем.

Все сидели некоторое время молча. Потом каждый сказал по одной фразе.

— Надо признать ошибки полностью, — сказал Столбоверстов решительно и окончательно.

— Надо бороться! — твердо, не свойственным ему тоном пропагандиста сказал Чернохаров.

— Страшно, — чуть слышно сказал Карлюк. На него, как и всегда в тяжелую минуту, нашло отчаяние. Он уже не верил ни Чернохарову, ни Столбоверстову.

Сказали они так, коротко, и разошлись: двое уверенные и непоколебимые в своей уверенности, а третий — с мучительным вопросом в голове: «Что-то будет дальше?»

Карп Степаныч после этого не спал двое суток подряд. Было страшно: он вообразил, что враг уже берет его за горло. На третьи сутки он уснул, но страшные сны мучили его так, что он встал утром совершенно разбитым.

Чернохаров заперся у себя в кабинете и думал.

А Столбоверстов всегда был на людях и басил чистосердечно:

— Ошибки свои надо уметь признавать. Кто ничего не делает, тот только и не ошибается. Ошибся — исправься! И все! Неужели нельзя понять простой логики? — При этом он разводил руками в недоумении и, в общем, не очень-то страдал.

Но лед шел и шел. И вот еще одна льдина ударила по Карлюку: закрыли — совсем ликвидировали! — Межоблкормлошбюро.

Сошлись они в последний раз с Подсушкой в своем умершем учреждении. Посидели-посидели вдвоем и с грустью посмотрели на две блестящие чернильные крышечки, напоминавшие о тихой заводи, в которой два друга спокойно и безмятежно прожили не один год. И Подсушка в глубокой печали спросил:

— Разрешите... на память... взять чернильную крышечку? — Голос у него дрожал.

— Возьмем, друг, по одной. Вы одну, и я одну. Будем помнить дни служения... науке.

— Будем, — эхом отозвался Подсушка.

Они тепло попрощались, долго-долго трясли руки, прослезились. Расстались они друзьями. Но, уходя от Карпа Степаныча, Подсушка оглянулся ему вслед — в последний раз! — и сказал так:

— Погоди, сукин ты сын! Я ведь напишу все — какой ты «наукой» тут занимался. Ты ведь теперь мне никто.

Вскоре Подсушка устроился конторщиком в каком-то далеком от науки учреждении.

Карп Степаныч искал работу. Ведь только подумать! Если бы была какая-нибудь специальность — дело другое: и токарь, и слесарь, и пекарь всегда найдут работу. А вот что делать свободному кандидату сельскохозяйственных наук? В институт — пока и думать нечего. На опытную станцию — мест нет. В колхоз агрономом — унижение. Все карты спутались. Думал-думал Карп Сте-

паныч и надумал: «А пойду-ка я председателем колхоза!» Надумал так и подал заявление в обком партии первому секретарю. В заявлении написал: «...кандидат наук»... «желаю служить народу»... «богатый опыт имеется»... «но чтобы недалеко от города и с сохранением квартиры»... В общем, написал все очень толково. И уверенно ожидал решения, будучи убежден, что он приносит себя в жертву социализму.

И что же вы думаете? Отказали! Непонятно: людей просят — они отказываются, а Карп Степаныч сам просился — ему отказали. Ну просто тупик получился какой-то. На Карпа Степаныча стало находить что-то вроде помрачения. Он даже стал вышивать болгарским крестиком подушечки ради подавления скуки и тоски. А тут еще беда: Джон подох. Изида Ерофеевна ходила вся в слезах, убиваясь о Джоне и о муже.

Зашел как-то к Карпу Степанычу доцент Святохин (тот самый, смирнейший и вежливейший, соглашающийся со всеми). Он выложил свое полное согласие с новыми течениями в сельскохозяйственной науке и стал утешать:

— Все утрясется, утихомирится. Не такое бывало, а проходило. Глянет солнышко—обсохнете. И пойдет дело снова. Прошу вас: не падайте духом, не унывайте. Попробуйте читать лекции где-нибудь.

Карп Степаныч обнял Святохина. Тут же оделся и направился вместе со Святохиным устраиваться в Общество по распространению знаний.

Представьте себе, не очень-то оказали доверие анкете Карпа Степаныча в этом обществе. А сказали так: «Выбирайте тему, прочитайте лекции в колхозах. Потом посмотрим».

И все равно Карп Степаныч повеселел.



ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

В ГУЩЕ ЖИЗНИ

Месяца через четыре, после успокоения Карпа Степаныча, из Н-ского районного отделения Общества по распространению знаний в областное поступило отношение с просьбой выслать высококвалифицированного лектора для чтения антирелигиозных лекций «хотя бы на неделю». В этом отношении говорилось, что антирелигиозная пропаганда в районе запущена, а ученых кадров для этой цели нет.

Получили такое письмо в области, подумали, посмотрели список, позвонили одному, другому ученому. Оказалось: все ученые сильно заняты и в колхоз ехать никак не могут. Единственный ученый, которого можно использовать «на неделю», — это Карп Степаныч Карлюк. Его вызвали, побеседовали, снабдили брошюрой «Внутреннее строение солнца и звезд» и пожали руку. Он весьма вежливо откланялся, получил командировочные и стал готовиться к выступлению в колхозах на антирелигиозную тему на базе последних данных астрономии.

Так началась новая деятельность Карпа Степаныча Карлюка. Он приближался к жизни. Выражаясь распространенным языком, можно утверждать, что Карп Степаныч начинал изучать жизнь.

Перед тем как ехать в колхоз, состоялись семейные сборы. Было все предусмотрено. Изида Ерофеевна купила даже и резиновые сапоги на случай ненастья. Все могло быть. Таким образом, при наличии запаса одежды оказалось багажа много — три чемодана. Как тут

быть? Не брать же с собой носильщика в колхоз. Выход нашла опять же Изида Ерофеевна. Она сказала:

— Поеду-ка я с тобой сама. Что ты сделаешь один!

— Пожалуй, — согласился Карп Степаныч.

После этого супруга купила еще два глиняных горшка, то есть две самые обыкновенные макитры.

— А горшки зачем? — спросил Карп Степаныч.

— Меду выпишем в колхозе. Сюда войдет килограммов пятнадцать-двадцать.

И поехали. Сначала поездом. Потом, со станции до района, на грузовике. Трудно. Устали. Остановились в районной гостинице, отдохнули. А затем уж Карп Степаныч отправился в районное отделение общества. Встретили Карпа Степаныча хорошо. Как-никак, а в район приехал кандидат сельскохозяйственных наук — случай довольно редкий. Карп Степаныч большую часть времени хранил глубокомысленное молчание и казался весьма респектабельным. После всех приветствий и объяснений о состоянии антирелигиозной пропаганды ему сказали:

— Не мешало бы представить вас районному начальству.

— Что ж, можно, — согласился Карп Степаныч.

Председателя райисполкома не оказалось — уехал в район. Карпа Степаныча повели к секретарю райкома. Секретарь тоже собирался выезжать, но не успел — застали его.

Карп Степаныч представился.

— Карлюк, кандидат сельскохозяйственных наук, — сказал он, сгибаясь в привычную для него почтительную позу.

— Галкин, — назвался в свою очередь и секретарь, не сгибаясь, подобно вошедшему, а рассматривая его внимательно. — Вы из области?

— Да.

— Читать лекции?

— Да.

— Это хорошо. А позвольте спросить, как ваше имя и отчество? — Казалось, секретарь что-то вспомнил.

— Карп Степаныч, — ответил Карлюк. — А ваше?

— Николай Петрович.

— Очень приятно. Рад познакомиться.

Карлюку это знакомство не говорило ничего — он не знал Николая Петровича, никогда о нем не слышал. Но могут спросить: как же это все получилось? Куда девался Каблучков? Как оказался Николай Петрович Галкин секретарем райкома партии? Ответ простой. Заболел Каблучков. Вот взял и заболел сам собою. Пришел с выборов, где его «прокатили на вороных», а выбрали Галкина, лег на постель и сказал:

— Должно быть, я сделал все, что мог. — Потом подумал печально: — Ну и секретарь обкома — приехал и поставил все на голову, вверх ногами!

Каблучков искренне верил, что Галкин — ноги, а он, Каблучков, — голова. И заболел. Точных причин медицина так и не установила. Да и то сказать: причина-то вряд ли доступна определению медиков. Тут и просвечивание не объяснит ничего, если человек перепутал голову с ногами. Печально, конечно, но заболел.

Итак, лицо Галкина ничего не говорило Карлюку, ровным счетом ничего. А цепкая память секретаря помнила всю жизнь Егорова, помнила, следовательно, и роль в ней Карлюка.

— Так, так, — заключил он свои молниеносные воспоминания. — Значит, читать? Лекции?

— Читать. Лекции, — подтвердил Карп Степаныч.

— Что ж, хорошо. Поезжайте-ка в колхоз «Правда». Там, знаете ли, нужны лекции.

— Пожалуйста! Можно начать с «Правды».

— А вы предполагаете здесь задержаться?

— Командировка на две недели.

— Ну, хорошо. Хорошо. Посмотрим.

А когда Карп Степаныч вышел, Николай Петрович взял телефонную трубку и вызвал колхоз «Правда».

— Привет, Филипп Иванович! Живешь?.. Добро! Телятник кончил? Добро!.. Нет, сегодня к тебе не буду— ты сам с усам. А вот сюрприз тебе есть. Сегодня приедет лектор из области, кандидат... Хорошо, говоришь? Не плохо. Принимай... Карлюка!.. Алло! Алло! Ты что, опешил?.. Как это так «выгоню»? Не горячись. Дай ему высказаться перед народом. Пусть... Как? Не пойдешь сам? Ну, сам можешь не ходить, а секретарь парторганизации Боев пусть побудет обязательно, послушает. Не горячись. Бывай здоров!

Через несколько часов «Победа» мчала Карлюка в колхоз, мчала со всеми приложениями: с тремя чемоданами, двумя макитрами и Изидой Ерофеевной.

Первым делом Карп Степаныч обратился к счетоводу насчет выписки меда. Счетовод спросил:

— Сколько?

— Килограммов пятнадцать-двадцать, — ответил Карп Степаныч, помня о емкости макитр.

— Ордер выписать могу, а количество надо согласовать с председателем. Для вас, возможно, и разрешит.

— А где я могу видеть председателя? — спросил Карлюк.

— Он в кабинете у себя, но сказал — сегодня никого принимать не будет. Очень занят. Очень!

— А вы доложите: приехал лектор, кандидат сельскохозяйственных наук.

— Он знает. Но ему некогда. А насчет меда я сам зайду. Для вас, возможно, выпишет.

Карлюк подождал, сидя в кабинете счетовода. Он думал: «Ну и бюрократ же председатель! Вот и подними с ними сельское хозяйство, с такими».

— Что? Меду ему? — спросил Филипп Иванович у счетовода.

— Просит двадцать килограммов.

— Дай-ка мне ордер! — И Филипп Иванович собственноручно написал: «Двести граммов».

Счетовод вышел из кабинета и сказал Карлюку:

— Пожалуйста! Я говорил, выпишет. И выписал.

Только не заметил Карп Степаныч ехидной улыбки на лице. Карлюк взял ордер и, не глядя, сунул в боковой карман, будучи уверен, что двадцать килограммов меда у него в кармане.

— Иди получи, — сказал он самодовольно Изиде Ерофеевне, придя на временную квартиру и подавая супруге ордер неразвернутым.

— Выписал? — обрадовалась Изида Ерофеевна.

— А как же! Цена плевая — копейки. Иди! Попросишь кого-нибудь из колхозников донести. Дай ему за это гривенник. Дай, дай! Ничего, дай!

Вскоре Изида Ерофеевна прибыла в кладовую с макитрой в каждой руке. Она подала ордер. Кладовщик Иван Григорьевич Кузин надел очки, посмотрел на ордер, повернул его и еще раз посмотрел с тыловой стороны, потом поверх очков посмотрел на макитры, окинул взором Изиду Ерофеевну. Он не сказал ни единого слова, а взвесил кусочек меда, указал пальцем на него и только тогда произнес первое слово, сняв очки:

— Берите.

— Это что?! — воскликнула Изида Ерофеевна.

— Двести граммов меда, — холодно ответил кладовщик.

— Сколько?! — взвизгнула покупательница.

— Двести. На! Смотри ордер. — Иван Григорьевич перешел на «ты», потеряв уважение к клиентке.

— Не нужен мне твой ордер! Ты что, мои горшки измазать медом хочешь?! Невежа!

— Нужны-то мне твои горшки, — спокойно ответил кладовщик. — Мне они хоть бы век не были, твои горшки. Мне все едино — чистые они или грязные, твои горшки. Подумаешь! Твои горшки! «Неве-е-жа»! Подумаешь, какая «вежа» приехала! Вас тут только допусти, вы весь колхоз выпишете по ордерам ни за копейку. Иди, иди! Мне некогда с тобой антимонии разводить.

Изида выскочила из кладовой, забыв макитры.

С этого и началось варение Карпа Степаныча в гуще жизни.

Наступил вечер. В клуб собралось народу уйма! Карп Степаныч взошел на сцену, чуть расстроенный поведением кладовщика и его обращением с супругой. Однако он утешился тем, что завтра можно исправить всю эту неприятность и осадить зазнавшегося невежу. Василий Сергеевич Боев (тот самый Вася Боев, бригадир тракторного отряда) объявил:

— К нам приехал кандидат сельскохозяйственных наук товарищ Карлюк. Он прочтет лекцию на антирелигиозную тему. — Вася обернулся к Карлюку и спросил: — Как называется ваша тема?

— «О строении солнца и звезд и есть ли бог», — ответил Карлюк.

— «О строении солнца и звезд и есть ли бог», — повторил Вася. И добавил: — Просим вас, товарищи, слушать тихо. Вопросы задавать после лекции. Чтобы культурно. Прошу! — обратился он к Карлюку.

Карп Степаныч стал за трибуну. Перед ним сидела публика разных возрастов — от семилетних ребят и до глубоких стариков. Были здесь и празднично одетые и

просто в рабочей одежде. И начал он уверенным баском свою лекцию. Он говорил о туманностях, о том, как они образуются, как во вселенной нет ни начала, ни конца и какая земля маленькая по сравнению с большими звездами. Но говорил он не «от себя», а по брошюре «Серия № 3» издательства «Знание». Он старательно переписал опубликованную в брошюре лекцию и читал ее, как свою, добавляя лишь слово «товарищи»:

— «Принято считать, товарищи, что атом кислорода имеет атомный вес, равный в точности шестнадцати элементарным единицам, товарищи. Одна шестнадцатая доля массы атома кислорода принята за единицу, товарищи... Масса атома водорода равна единице и восемьсот двенадцать стотысячных, а масса нейтрона — единице и восемьсот девяносто три стотысячных. Товарищи! Если выразить массу протона в граммах, то она окажется, товарищи, чрезвычайно малой, а именно: один и шестьдесят семь сотых, умноженное на десять в минус двадцать четвертой степени грамма, товарищи». — И он написал на доске мелом: $1{,}67 \cdot 10^{-24}$.—Понятно, товарищи? — спросил он, не ожидая ответа.

— Понятно,— неожиданно откликнулся Пал Палыч Рюхин. — Валяй дальше.

— Тише! — предупредил Вася Боев и постучал о графин, давая этим понять о неуместности реплики.

Карп Степаныч продолжал:

— «Вещество, находящееся в недрах звезд, является смесью быстро движущихся частиц: атомных ядер, электронов и частиц излучения — фотонов. Здесь господствует полный... «беспорядок»... столь непривычный для «земной» действительности... Обратимся к так называемому уравнению Клайперона.—Карп Степаныч написал мелом уравнение. — Это уравнение связывает давление, товарищи, плотность и температуру так называемого идеального газа, товарищи».

Кто-то громко вздохнул. Кто-то кашлянул. Кто-то неожиданно зевнул, громко, с потягом.

Василий Сергеевич написал лектору записку:

«Закругляйтесь. Могут не выдержать. Я свой народ знаю».

Карп Степаныч прочитал записку, посмотрел на Боева, на публику и спросил:

— Вам понятно, товарищи?

— Понятно! — ответил кто-то из задних рядов. — Давай теперь про бога.

Но лектор еще целый час продолжал в том же духе. Под конец лекции он заговорил «от себя»:

— Итак, товарищи! Вселенная не имеет ни конца ни краю. Вот почему и нет бога: ему жить негде... А троица, ваш престольный праздник — бог-дух, бог-отец, бог-дед, — это от язычников осталось. Верьте, сам лично читал в книгах. — И Карп Степаныч поклонился в зал.

Пал Палыч Рюхин, поскольку он сидел в передних рядах, встал со скамейки и тоже поклонился лектору, уже из зала. При этом Карп Степаныч подумал: «Вежливые люди!»

— Какие будут вопросы? — спросил у публики Василий Сергеевич.

Сначала публика задвигалась, зашевелилась. Потом как-то сразу и затихла. Вопросов не было. Только один престарелый колхозник проскрипел:

— «Бог-дед» — нету такого. Бог-сын есть. А бог-дед не бывает.

— Ну что ж, задавайте вопросы, товарищи! — обратился еще раз Боев.

И вот из глубины зала зазвучал голос мальчика:

— Почему Меркурий обращен к Солнцу всегда одной стороной?

Стало еще тише. Карп Степаныч молча поднял глаза в потолок, будто обращаясь к небу. Он вспоминал. Потом переспросил:

— Меркурий?

— Да, Мелкурий,— подтвердил Пал Палыч Рюхин.— Почему так? Давай, давай, Васька! — обратился он туда, откуда был задан вопрос.

— Видите ли, дорогие и многоуважаемые товарищи! Меркурий, конечно, планета. Так? Планета. А раз она, планета, вращается, то, значит, вращается она с одной стороны, а с другой стороны... нельзя так думать, что она... не вращается. Отсюда вывод: даже астрономы не могут сказать «почему», а я не астроном.

— А кто же? — спросил голос.

— Кандидат сельскохозяйственных наук.

— А это что — кандидат?

— Степень такая есть, ученая, — ответил Карлюк.

— А-а! — протянуло сразу несколько голосов.

— Одним словом, по сельскому хозяйству?

— Да.

— А чего же это вам, дорогой товарищ кандидат, пришлось по звездам-то читать? Вы бы и говорили по сельскому хозяйству. Оно нам сподручнее понимать.

Это сказал тот самый кладовщик, Кузин Иван Григорьевич. Здесь он был без очков, потому что видел хорошо. Вообще говоря, Иван Григорьевич — личность в колхозе приметная. Лет ему под семьдесят. Бородку носит клинышком, ходит в помятой шляпе. С первых дней организации колхоза и до настоящих дней он с удовольствием разъясняет колхозникам новости из газет и журналов. В бога он совсем не верит, ни капельки. А самое главное, до почтенной старости спокоен и... маленько хитроват. Это он переключил лектора на сельскохозяйственную тематику в надежде на то, что удастся его

«прощупать». Так и звучала в его словах нотка: «А ну-ка, что ты за птица?» И он после паузы добавил:

— По-моему, надо бы вопросы и по сельскому хозяйству и про бога. Увязать надо.

Кто его знает, что скрывалось под этим предложением! У Ивана Григорьевича никогда не угадаешь.

— Увязать! — поддержала его публика единодушно.

— Пожалуйста! — согласился Карлюк, уже изрядно взмокший от первых вопросов.

— Не-ет,— возразил Пал Палыч всем сразу.— Сперва надо выяснить про Мелкурию. Почему она так? Мало ли что она планида! А почему одной стороной? И мне желательно знать. Может, он, бог-то, на той стороне, товарищ депутат.

— Не депутат, а кандидат наук,— поправил его Иван Григорьевич Кузин.

— Ну и что ж из этого? — возражал все-таки Пал Палыч. — А про Мелкурию выяснить надо все равно. Мы только первый год получили по два кило хлеба. Теперь и про Мелкурию интерес есть узнать. Выяснить обязательно.

— Наукой не установлено, — сказал Карп Степаныч, чтобы отвязаться от назойливого водовоза.

Почему — неизвестно, но легкие смешки запорхали в зале из угла в угол. Зал загудел.

— Тише, тише, товарищи! — остановил Василий Сергеевич Боев. — Не волнуйтесь! Выясним. Для ответа имеет слово ученик девятого класса Костров Виталий. Давай, Виталий!

— А я тут при чем? — смущенно спросил юноша из третьего ряда.

— Ну, не скромничай. Выручай, — уговаривал Боев и улыбался.

Виталий вышел. Стал около стены. Заложил руки назад и ломающимся баском объяснил коротко:

— Меркурий делает оборот вокруг своей оси за восемьдесят восемь суток. За такое же время он вращается и вокруг Солнца. Поэтому Солнце освещает всегда только одну сторону. — Виталий решил, что это не очень понятно. Он взял у ближайшего мальчика (из тех, что торчали всегда около сцены) кепку за пуговку и, обведя ее вокруг лампочки, показал, как при вращении Меркурия освещена одна сторона. — Вот! — заключил он.

— Ясно? — спросил у публики Василий Сергеевич.

— Ясно! — откликнулся дружный хор голосов.

— Так. Переходим к следующим вопросам. Кто имеет слово?

— А ну-ка, дай мне слово, Василий Сергеевич, — попросил Иван Григорьевич Кузин.

Почему-то все переглянулись, и многие улыбнулись. Все знали спокойствие и хитрецу кладовщика.

— Что ж, товарищи, у меня вопрос простой, — начал Иван Григорьевич. — Раз вы специалист по сельскому хозяйству, то и вопрос мой будет насчет сельского хозяйства. Он и к богу касается, поскольку, как говорит легенда, бог создавал все самолично. Ну-с... Возьмем, товарищи, обыкновенную овцу. Можно?

— Пожалуйста! — сказал в изнеможении Карп Степаныч.

— Ну-с... У моей старой овцы в верхней челюсти остались только два резца. А сколько у нее бывает резцов в верхней челюсти — не знаю. — Иван Григорьевич сел, захватив клин бородки в горсть, и стал ждать ответа.

С Карпа Степаныча повалил пот ручьями. Он то улыбался, то становился серьезным, выражение его лица менялось ежесекундно. Все увидели замешательство кандидата, и все ждали: что-то он скажет на вопрос Кузина?

И Карп Степаныч пошел напролом, наугад, догадавшись, что хуже того, что было, уже не может быть.

— Шесть или восемь — не помню, но обязательно четное число.

Громкий хохот встряхнул здание клуба так, что задребезжало стекло за сценой. Карп Степаныч сел. Платок, которым он вытирал лицо, стал совсем мокрым, поэтому наш кандидат вытирался просто рукавом. Было очень похоже, что он уже ровным счетом ничего не соображал. А зал хохотал.

Почем было знать Карпу Степанычу, что у овцы в верхней челюсти не бывает резцов совсем, от рождения! Конечно, тут и не особенно сложно, если знать. Но вся беда-то в том, что он этого не знал. Да и не мог знать. Он ведь окончил в институте полеводческое отделение. Это вполне понятно — у нас готовят агрономов очень узкой специальности. Поясним более точно. Бывает агроном-полевод — он не знает ничего о животноводстве. Бывает зоотехник — этот мало соображает по полеводству. Бывает просто садовод или просто овощевод — эти еще «у́же». И так далее. Вполне возможно, будут специалисты такого профиля: гусятник (только по гусиному вопросу), овчатник, курятник, а в овощеводстве — чесночник, огуречник, тыквенник и тому подобное. Ведь случается порой — соберутся такие специалисты в колхозную бригаду и ну требовать, ну трясти душу бригадира. И главное, требуют, чтобы бригадир комплексной бригады знал все: и полеводство, и животноводство, и садоводство, и овощеводство — все, все!..

Но смеялись тогда здорово. Конечно, такого беспорядка Василий Сергеевич Боев допустить не мог. Хотя и смеялся сам. Он позвонил карандашом о графин и остановил всех такими словами:

— Товарищи! Где вы находитесь? Вы находитесь в клубе. Надо культурно. Так нельзя.

И все успокоились. Тогда Пал Палыч спросил:

— Значит, ты, товарищ, — кандидат?

— Да, — жалобно ответил Карп Степаныч.

— Раз ты, товарищ, не в курсе, то так и должон сказать: я, мол, пока не агроном, а только кандидат, — поучал уже его Пал Палыч.

— Кандидат — это больше, — пробовал возразить Карп Степаныч.

Куда там! Разве Пал Палычу возразишь? Он тут же пояснил:

— Мало ли что больше. Ну, хуже, значит. У нас вот есть настоящий агроном — теперь он председателем колхоза, Филипп Иванович Егоров. Так того сразу видать — агроном, а не какой-нибудь там кандидат.

Карп Степаныч привстал. Потом присел. Потом еще раз привстал, а сесть уже не смог. Он только и спросил тихо, убитым голосом, выдавленным из пересохшего горла:

— Егоров? У вас? Председателем?

— Да. Егоров, — ответил Василий Сергеевич.

Карп Степаныч пошел со сцены. Он быстро зашагал к выходу, ни на кого не глядя. Зал молчал. Карп Степаныч мысленно повторял про себя одно только слово: «Восстановили! Восстановили!»

Он немедленно потребовал в письменном виде, чтобы его отвезли на станцию.

Но машину подали только ранним утром. А когда автомобиль отъезжал от квартиры, двое бежали за ним, махали руками и какими-то круглыми предметами. Встречные колхозники, идущие на работу, делали шоферу знаки, показывая назад. Он остановился и увидел: позади бежали старик, Кузин Иван Григорьевич, и мальчик. Они кричали:

— Макитры-ы! Макитры-ы! Макитры забыли-и!

Как только Карп Степаныч услышал эти крики, он приказал:

— Немедленно вперед!

И остались макитры колхозу на память.

Теперь Иван Григорьевич показывает их приезжим и говорит:

— От кандидата остались. Макитры-то научные!

Иногда приезжий спросит:

— Ну, как он из себя-то, кандидат-то?

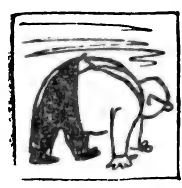
Иван Григорьевич отвечает коротко:

— Представительный!.. — И махнет рукой: дескать, не нашего ума дело обсуждать человека ученой степени.

Так-то вот и окунулся Карп Степаныч в гущу жизни. Не жизнь, а одно переживание.

В район он не заезжал, а прямо на станцию.

Точно не знаем, но в Общество по распространению знаний Карпа Степаныча, кажется, не приняли. Не сумели и там оценить человека.



ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

ПОТРЯСЕНИЕ МОЗГОВ

Не будем заниматься описанием того, как Карлюк с супругой ехали домой, как они доехали, как переживали. Важно одно: земля закачалась под ногами Карпа Степаныча. Пока он сидел в вагоне, или в автомобиле, или в гостинице — то есть на чужом месте, — качания земли под ногами не было заметно. Но как только он начинал ходить, земля начинала качаться под его же собственными ногами. Это было очень странно для Карпа Степаныча. Он даже иногда останавливался, некоторое время стоял неподвижно с таким же философским выражением лица, с каким дети сидят на горшочке, а потом спрашивал у жены:

— Иза! Под тобой качается?

— Не-ет, — с удивлением отвечала та.

— А подо мной качается. Отчего бы это стало?

— Устал ты. Отдыхать надо. И волнения...

Изида Ерофеевна еще в пути начала замечать, что с Карпом Степанычем творится неладное. А дома это стало еще отчетливее заметно — на Карпа Степаныча напала сонная болезнь. Спит, спит он, встанет — поест. Поест и снова засыпает. Кажется, если бы его не будить, то он во сне и ел бы. Редкое явление! Но медики утверждают: бывает. А старые люди говорят, что такие сонливые иной раз даже и изрекают что-то.

В таком состоянии он пробыл несколько дней. А потом, наоборот, спал мало, не более восьми часов в сутки, то есть только ночью. Днем же ему, оказалось, делать нечего. И он стал поэтому думать. И чем больше он рассуждал, тем сильнее земля качалась под ним и тем все более странные мысли он начал высказывать. Мысли чаще всего выходили в виде вопросов к супруге и выяснялись в итоге двухсторонней беседы. Иной раз он спросит:

— Иза! А как ты думаешь о происхождении слова «сметана»?

Видно, он долго думал над этим вопросом, но не решил.

— Сметана? А кто ж ее знает... — отвечала супруга.

— Вот видишь, какие у нас ограниченные знания.

— А на что мне знать? Сметану просто можно купить на базаре и без всякого происхождения.

— Так-то оно так, но знать надо. Все это наука и... жизнь.

— Да брось ты думать, — просила Изида Ерофеевна, замечая все более ненормальное поведение мужа. — Пожил бы в покое месячишко.

Карп Степаныч вздыхал и говорил:

— Мысли не остановишь. Человек в них не волен.

Проходило некоторое время, и Карп Степаныч снова обращался к супруге:

— Плохо ты сказала Егорову... Тогда-то... Помнишь?

— Это о броне, что ли?

— То-то вот и оно.— И снова вздыхал. Снова мучительно думал, сидя неподвижно и смотря в одну точку. Потом задавал вопросы снова: — А может быть, я бесполезно и старался с этими диссертациями-то?

— Да плюнь ты на все! Отдохни...

А Карп Степаныч все вздыхал и вздыхал. Вздыхал все печальнее и печальнее.

Изида Ерофеевна смотрела на мужа удивленно и думала: «Никогда с ним этого не было. Что-то неладное у него с мозгами».

За завтраком, во время еды, он вдруг переставал жевать и спрашивал с набитым ртом:

— А может быть, мне бросить всю эту науку и...

— И заняться каким-нибудь делом, — пыталась завершить мысль супруга.

— Так-то оно так, но...— И Карп Степаныч что-то не договаривал, замолкая и вновь жуя.

После еды сидел, молчал и думал о своем положении. И чем больше думал, тем все более ненормальные возникали вопросы. Однажды он спросил:

— Иза! А как ты думаешь: почему меня не назначили председателем колхоза?

— Не знаю, милый, не знаю.

— Вот и я не знаю. Хорошо это или плохо — что не назначили?

— Не знаю, Карик, не знаю.

Раньше Карп Степаныч не раздумывал над тем, что хорошо и что плохо: впереди была ясная цель — диссертация, а все остальное расценивалось с точки зрения пригодности или непригодности для этой цели. Теперь,

оказалось, цель потеряна. И появились ненормальные для него мысли.

Он как-то проснулся среди ночи, сел на кровати, потрогал Изиду Ерофеевну и спросил:

— Ты тут?

— Тут.

— Разбудил я тебя?

— Разбудил, — спросонья отвечала жена. — А что?

— Возник вопрос: в партию меня могут принять? Или не могут?

— Вряд ли... Не знаю, Карик.

— Может, подать заявление? А? Раскаяться во всем... признать ошибки... И сказать, что меня надо послать не в науку, а... Куда бы это меня послать?

Супруга не отвечала, так как тоже не знала, куда его надо послать. Она просто засыпала. В мучительном раздумье засыпал и Карп Степаныч.

Так прошло недели две. Карп Степаныч совсем замолчал. Никуда не выходил. Он забился, как осенняя муха в щель, и даже не пытался смотреть на мир божий.

Однажды пришел неунывающий Святохин. Он решил навестить товарища и утешить. Пришел, позвонил, стоя у двери, на лестнице. В это время Изиды Ерофеевны дома не было (ушла на базар), поэтому Карп Степаныч сам лично вышел в прихожую и спросил через дверь:

— Кто?

— Будьте любезны открыть. Святохин. Святохин я.

— Вам кого?

— Да вас же, вас! Карпа Степаныча Карлюка!

— Его нет дома, — четко ответил Карп Степаныч и решительно отошел от двери. На повторные звонки он не вышел.

Святохин встретил Чернохарова, покрутил пальцем около лба и сказал.

— Карлюк-то того... Не выдержал.

— Да ну? — забеспокоился Чернохаров. — Надо сходить к нему.

А Карп Степаныч все думал, и думал, и думал. И молчал. Только один раз он спросил у Изиды Ерофеевны, перед тем как задремать в кресле:

— Я человек или не человек?

— Что с тобой? — И жена заплакала. Карп Степаныч неожиданно закричал на всю квартиру:

— Ты отвечать будешь или не будешь?!

— Конечно, человек. Настоящий человек. Все как у человека, — сказала Изида Ерофеевна и подумала: «Врача!»

Ее ответ немного успокоил горячую работу мозга ученого мужа, и Карп Степаныч задремал.

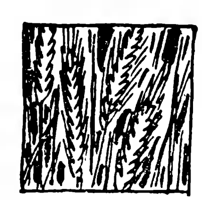
Изида Ерофеевна отправилась за врачом.

Так, стараясь понять свое положение, Карлюк сошел с ума. В отдаленных тайниках мозга — где-то в самой-самой глубине! — попытался было проснуться человек. И Карп Степаныч сошел с ума — не выдержал.

В том, что он попал в сумасшедший дом, ничего страшного не было: он не был там буйным. Вел себя тихо и прилично. Только иногда он становился на четвереньки, изображая, видимо, лошадь, и медленно топтался из угла в угол, потом останавливался посреди комнаты и тихо, четко произносил длинное научное название своей темы.

И — все. Был в свое время кандидат — Карлюк Карп Степаныч, но в нем не было человека. Потом попробовал проснуться в нем человек — не стало кандидата, Карлюка Карпа Степаныча. Так и не могли они жить вдвоем: либо один, либо другой.

Все это очень печально... Очень! Трудная обстановка получилась в науке.



ЭПИЛОГ

Прошло четыре года. Много произошло разных изменений в жизни, много ликвидировано ненужных учреждений и комиссий. Много полезного сделано и в сельскохозяйственной науке. Диссертации теперь защищают совсем по другим правилам, а не по тем, что составил Карлюк.

Кстати, о Карлюке. Был слух, что он выздоровел и уехал в неизвестном направлении. Давно уж нет Межоблкормлошбюро, а Карпа Степаныча все помнят, даже анекдоты о нем рассказывают. Долго он будет жить в памяти современников.

Жизнь идет.

Ефим Тарасович Чернохаров работает все в том же институте, так же читает лекции, но уже по другим конспектам. Он теперь признает единственно правильной системой только систему Мальцева; он и опыты ставит только с приемами из системы Мальцева, не сравнивая их с приемами из Вильямса. Он так же продолжает борьбу с Герасимом Ильичом Масловским. И если Масловский говорит, что новая система земледелия на черноземах должна слагаться из народного опыта и из таких приемов, которые полезны в данной местности, то Чернохаров называет Масловского «оппортунистом в науке». Так-таки и народилось новое слово-ярлык! Но нет уж той львиной силы у Чернохарова. Он стал раздражительным и еще более угрюмым. На экзаменах

теперь смотрит студенту не в лицо, а на носки ботинок. Аудитория его становится все малочисленней. Что-то будет!

Столбоверстов тычет перстом в Герасима Ильича Масловского и басовито бубнит:

— Соглашатель в науке! Он ищет безобидной серединочки.

Говоря о Столбоверстове, необходимо сделать предварительное сообщение о новом научном достижении: открыли флюгероиды! Мы не можем пройти мимо этого вопроса, весьма интересного, требующего самого пристального внимания исследователей. Поэтому попытаемся дать краткое и абсолютно научное изложение этого вопроса.

Флюгероиды — особая порода людей. К этой породе, по последней классификации, отнесен и Столбоверстов. Среда пока не оказывает никакого влияния на изменчивость этого вида. Хотя подобная консервативная устойчивость и противоречит некоторым правилам, установкам и постановлениям, но... в жизни бывает. Флюгероиды, как показали исследования, чрезвычайно живучи, выносливы и весьма устойчивы против неблагоприятных условий погоды. В этом аспекте и наши исследования, вероятно, должны быть продолжены более компетентными лицами. Этот вопрос предстоит изучить, углубить и обобщить. О, работы тут еще много! Потребуются коллективные усилия многих ученых.

Чуть не забыл! У Чернохарова появился новый научный сотрудник, Кульков — юркий, пронырливый молодой человек. Он недавно окончил институт, но приметил его Чернохаров с первого курса и оставил при себе (так когда-то он обласкал Карпа Степаныча). Так вот этот самый Кульков теперь точно выполняет все указания Чернохарова. Если Ефим Тарасович велит уничтожить травы, Кульков их уничтожает, если же Чернохаров

велит их сеять вновь, сеет. Если Ефим Тарасович велит вырубить замечательную дубовую лесополосу, посаженную квадратно-гнездовым способом по методу Лысенко, то Кульков вырубает аккуратно, под корень, чтобы знаку не было. Если Ефим Тарасович скажет: «Переплавить предплужники как отрыжку системы Вильямса!», то Кульков сваливает все предплужники в металлолом и отправляет в утильсырье по две копейки за штуку. Если же в какой-либо части области родится яровая пшеница, то Ефим Тарасович пошлет туда Кулькова, чтобы доказать, что она там сейчас не родится, не может родиться и не будет родиться и что все селекционеры яровой пшеницы суть люди ненормальные. В общем, он выполняет все в точности и аккуратности. О кандидатской диссертации он уже начинает заботиться сейчас. Вполне возможно, что со временем Кульков округлится, располнеет и приобретет вид настоящего ученого. Он сейчас трудится не покладая рук. Поэтому в науке он может еще много... накуролесить.

Впрочем, молодые научные работники почему-то не очень любят вступать в общение с Кульковым. Наоборот, появились на научных советах и, представьте себе, возражают. Даже Чернохарову — Чернохарову! — возражают.

Как-то встретились Столбоверстов с Чернохаровым и разговорились по душам.

— Ну как? — спросил Столбоверстов.

— Да так... Гм..., — ответил Чернохаров.

— Шумят?

— Гм...

— Уже не подремать на ученом совете. Эх-хе-хе!

— Эх-хе-хе! — вздохнул и Чернохаров.

— Надо подпрягаться.

— Возражаю. Гм... Наоборот... Мы должны вести.

— Будьте здоровы!

— Всего доброго!

Такой довольно откровенный разговор глубоко запал в душу каждого. Они этой беседой констатировали: а) что-то такое произошло в науке, б) обсуждение этого вопроса не имеет смысла, в) отсутствие взаимопонимания по принципиальному вопросу. А разойдясь после этой встречи и оглянувшись, каждый из них тихо произнес в адрес друг друга по одному слову.

— Колода! — сказал Столбоверстов.

— Арап! — сказал Чернохаров.

Ведь вот до какой грубости можно дойти в научном запале. Просто даже и не знаешь, что с ними будет дальше.

Святохин все тот же: ласковый, соглашающийся со всеми и весьма вежливый, корректный, сияющий своей лысиной. «Ласковый теленок двух маток сосет» — мудрейшая пословица!

Герасим Ильич Масловский хотя и постарел, но такой же бодрый, такой же непримиримый. Он все ищет пути улучшения жизни деревни. Он все так же продолжает биться за действительную, настоящую науку. Герасим Ильич часто бывает в колхозах, а уж мимо колхоза «Правда» не проедет никогда: там все так же председательствует Егоров Филипп Иванович, уже защитивший кандидатскую степень.

Недавно они встретились на колхозном поле, председатель и профессор. Обнялись. Долго беседовали, ездили по полям и фермам. Филипп Иванович тоже мало изменился, такой же горячий. Это он держал за пуговицу Герасима Ильича и, разрубая другой рукой воздух, отчетливо говорил:

— Согласен с вами! Колхоз дружно идет в гору. После таких событий, как сентябрьский Пленум и Двадцатый съезд, все пошло в гору. Все. Но... — Филипп

Иванович осекся. Он уже начинал почему-то волноваться, выпустил пуговицу профессора и уже нервно теребил колоски.

— Что «но»? Давайте, выкладывайте.

— И скажу. — Филипп Иванович сорвал колосок и бросил наотмашь.— Но почему до сих пор продолжается свистопляска с севооборотами? Севооборотов-то в районе фактически нет, за редкими исключениями. Они на бумаге, и то не всегда. Почему?.. Почему еще подвизаются шаблонщики и неуместным применением системы Мальцева иногда порочат идею этого ученого? Почему? — Филипп Иванович уже горячился. — Я бы смог вам перечислить десяток таких «почему».

— На все подобные «почему» ответ один: шаблон — следствие отрыва теории от практики.

— А сколько лет мы это слышим?

— Да не перебивай, пожалуйста! Что за привычка, ей-богу, — закипятился и Герасим Ильич. — Надо сделать так: каждый ученый, каждый научный сотрудник — каждый! — должен быть связан с колхозами, должен знать колхоз или совхоз, должен жить этой жизнью. Иначе нельзя.

— Во! — воскликнул Филипп Иванович восторженно. — Тогда и в сельскохозяйственной науке все станет на свое место. Уже не будут «упражняться» на земле псевдоученые и псевдоустроители севооборотов.

— Почему именно тогда они не будут упражняться? — спросил Герасим Ильич уже спокойнее.

— Потому, что их прогонит, просто прогонит единственный хозяин колхозной земли. — И Филипп Иванович показал, как это будет: он загреб рукой воздух, выбросил наотмашь и подтолкнул коленом.

— Надо, очень надо об этом говорить громко. Шаблон в сельском хозяйстве — штука опасная, — закончил

Герасим Ильич. Он смотрел вдаль, на волны хлебов, и, задумавшись, добавил: — Поле волнуется.

Так они оба все принимают к сердцу, оба всегда в напряжении, иногда мучимые бессонными ночами. И нет им покоя. Да и хотят ли они покоя?.. Разум человеческий как река — он обретает покой только в движении.

Жизнь идет. Она стучится в сердце каждого. Иное сердце отзовется, а иное останется глухим. Но все равно жизнь идет.

г. Острогожск
1957 год

СОДЕРЖАНИЕ

Гавриил Николаевич Троепольский

КАНДИДАТ НАУК

*

Редактор О. В. Трунова
Художник А. А. Черномордик
Художественный редактор Э. А. Розен
Технические редакторы Г. Н. Силонова
и В. А. Авдеева

*

Сдано в набор 19/IV-62 г. Подписано к печати 28/IX-62 г.
Формат бум. 70x108[1]/32. Физ. печ. л. 6,625. Усл. печ. л. 9,0.
Уч.-изд. л. 9,1. Изд. инд. ХЛ-447. АО 9233. Тираж
90.000 экз. Цена 37 коп.

*

Издательство «Советская Россия».
Москва, проезд Сапунова, 13/15.

*

г. Казань, Комбинат печати им. Камиля Якуба.
Заказ № Г-700.

К ЧИТАТЕЛЯМ!

Издательство просит отзывы об этой книге и пожелания присылать по адресу: Москва, центр, проезд Сапунова, д. № 13/15, издательство «Советская Россия»

37 коп.

